

Фред Солянов

**Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и
лазоревои цветочке, рассказанная Асафием
Миловзоровым и записанная его внуком**

ФРЕД СОЛЯНОВ

*

**ПОВЕСТЬ О БЕСОВСКОМ САМОКИПЕ, ПЕРСИЯНСКИХ СЛОНАХ
И ЛАЗОРЕВОМ ЦВЕТОЧКЕ,
рассказанная Асафием Миловзоровым
и записанная его внуком**

Памяти моего отца М. Солянова.

В наше непостижно коловратное время, когда какой-нибудь писака угощает читающую публику небылицами, как дурак сваху копченым льдом, негоже использовать словесность для развлечения и пустого словоизвержения, ибо это великий грех перед Богом и людьми.

Однако я решаюсь переложить и представить городу и миру сказ моего деда Асафия, полный всяческого невороятя, поелику восемьдесят семь лет он жил в невороятный век, наложивший на его судьбу свою печать, и, пережив пятерых царей и четырех цариц, обладал веселой твердостью духа.

Пусть уважаемый читатель простит мне некоторые шероховатости слога, зане взялся я за стило, будучи в преклонных годах, не имея достаточных навыков, присуищих нашим отечественным борзописцам.

Миловзоров Михаил Арефьевич,

артиллерии отставной маиор.

Москва.

1855 год от Р. Х.

Барин наш Иван Михайлович человек был ученый, однако с причудью немалой: дворовых не сек, с девками не озоровал, бород мужиков не лишал, не злыдствовал на барщине,

любил книжки заморские читать, пускать бумажного змия, суслить клюковку и кидок был на аркадское яблоко.

Видать, оттого и село наше Миловзорово, что окошь Всесвятского, прибыль Москве и Санкт-Петербургу доставляло полушечную, ежели вобще доставляло. По недоимкам Миловзорово на всей Руси никто бы не переплюнул, хоть плевать у нас все мастера искони. А уж когда срок подходил рекрутов поставлять, своих не очуживали: всякий двор по три гривны наскребет, в общую сумму снесет, — найдут бурлака, накормят, напоят, оденут, оделят десятью рублями — и топают скимен молодой с носом сизым, аки последняя паутина на свете, в службу царскую защищать двустоличное отечество от врагов полуденных и полнощных.

Староста Петька Куцый был чистый голодер. Во всякий недород, когда мы на одной стрекаве да горохе жили, караван на стол барский ложил пеклеванные. И на свой стол, знамо дело, тоже. Росту Петька был чуток меньше сажени, толстый, аки оглобля иль поболе. Бороденка хоть и три волоска, да растопорщась. Глаза — прости Господи — не поймешь, глаза то ль: ни чалые, ни сивые, ни каурые, ровно козы катыши, и цветом такие ж. А в зрачках усы шевелятся, будто тараканы из них выглядывают. Куцым Петьку прозвали, когда еще тятя мой вхолостежь бегал. Речка наша Чертыхань раками славилась — на царский стол иных раков не клали еще при тишайшем государе Алексее Михайловиче, Царствие ему Небесное. А Петька Куцый в младенчестве, когда к вечеру мужики берег лучинами освещали, внаготку по Чертыхани шел, выглядывая добычу. И тут какой-то рачий злыдень в Божий лишек ему и впился. Петька с воем выскочил на кряж, дунул к селу, скача по огородам, помял у нас на задах гороховые посева, покуда не схватил его вдовый священник отец Василий и не избавил от клешней мясоеда. Так Петьку и стали кликать Куцым.

Жил у нас на селе еще один мужик с причудью — Ванька Косой. Приходит день — мужики зачинают баб своих бить: без битья какая ж любовь? А у Ваньки наизворот: не он лупит Богом ему данную Дарью, а она его, да так, что Ванька вылетал на большак и мужики переставали баб своих чем попадая охаживать и созерцали, как говаривали еллины, течение бытия вобрат. Повалит Дарья Ваньку и ногой норовит в дых. Разнимали их не раз, да куда там — Дарья на замирителей с поленом. Слух шел, что у Дарьи квашня притворена, да всходу нет — детей иметь не может. Вот Дарья-де на муже душу-то и отводит. И взаправду, какая ж семья без сынов и дочек? И забила Дарья Ваньку так, что его откачать не смогли, отец Василий отпел Ваньку, а на поминках боле всех убивалась сама Дарья. Без умыслу добила мужика.

Явился я на свет с родиминкой под левой грудью, как у моего тяти и деда, как и у моего старшого брата Никиты. Крестным отцом был у меня барин. Как мне шестой годок минул, порешил он меня грамоте и счетной мудрости обучать. Отец поначалу ни в какую — мол, рук мужицких и так не хватает в доме. Однако матушка по сметливости своей знала, что сын ее меньшей по торговой части может пойти. Глядишь, разбогатеет и в Москву переберется.

Стал я бегать в барскую усадьбу. Всякий раз встречал меня ученый скворец Степка. Он в клетке свиристел и кадычил: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!” Я ему из кармана гороху достану и в клетку суну — любил он горошек. Слуга барина Тимофей провожал меня на господскую половину. Тимофею стукнуло пятнадцать годов, отрок был ражий, глоткою только не вышел, хоть и на клиросе у отца Василия пел.

Учил меня Иван Михайлович по букварю, печатанному монахом Чудовского монастыря. Хитрую цифирь прознал я по арифметике Магницкого и по книге таблицы умножения, на титуле ее было написано: “Считание удобное, которым всякий человек, купующий и продающий, зело удобно изыскати может число всякие вещи”.

В кабинете у барина картин висело, аки в музее. Однако полюбилась мне боле всего балагурная картинка “Дама и валет желают ананаса” и еще одна, писанная сквозистыми красками: к спящей на полянке пастушке подкрался пастух и положил в изголовье голубень-цветочки. Ежели надоест мне читать учебник по географии, уставлюсь в картинку и гляжу на нее во всей подробности, покуда Иван Михайлович не придет. Память-то у меня была какая-то дурная: един раз прочту — и все помню, до каждой буковки. Таким манером всю латынь выучил. А иной раз достанет барин из орехового шкафа фолиант и читает мне про Дон-Кихота иль трагедию “Гамлет”. Через полгода научил он меня лопотать по-французски, а еще через год я без запинки прочел и перевел басню Лафонтена, коя начиналась словами:

Maotre corbeau sur un arbre perchbe
Tenait en son bec un fromage.

— Мастер-ворон, — начал я было переводить, но барин прервал меня:

— Здесь больше подходит кум-ворон.

— Кум-ворон сел на дерево, держа в клюве сыр...

А уж когда барин за мое усердие подарил мне сказки Перро, меня за уши нельзя было от них оттащить, и я прочел книгу от корки до корки без словаря.

А боле всего слушал я в охотку сказы барина про Афины и Рим. Я варежку раскрывал, аки монашка, бьющая в колокол. Помню сказ про Ганнибала, как тот без лазутчиков узнавал о приближении римского войска, потому как слоны Ганнибаловы чуяли луковый дух на многие версты: ратники римские всегда на луковом довольствии сидели и духом оным воздух напояли, аки пьяницы с перегару. С тех пор я слонов воснях все время видел, и задумал денег накопить, чтобы слона живого иметь.

Тимофей тоже лопотал по-латински не хуже краковского ксендза. Бывало, Иван Михайлович скажет ему — купи того-сего в московских рядах, а Тимошка отвечает: “Мультиум прециум”, сиречь “дорого”. “Модикум прециум” — “дешево”, — Тимофей изрекал впоредь. Ежели барину оные ответы надоедали, древнюю словесность он итожил оборотом: “Фиде а конспекту мео” — мол, изыди с глаз моих. А ежели клюковка в

четверти была ополовинена без барина, он по-русски вопрошал: “Сызнова клюковкой баловался?” Тимофей отвечал: “нондум” — дескать, нет. Тогда барин ему: “Иллуд фастум эст” — врешь-де, сукин сын .

Ежели я путался в арифметике, Иван Михайлович сечь меня не веливал. Коли нам с барином наука надоедала, мы настругивали бакляжки, клеили бумажного змия, привязывали его к вожжице и хвост из тряпок поболее, чтоб змий не козырял, и шли в поле.

Посему-то все в Миловзорове считали барина негодным к управлению хозяйством и тишком его в потыл смешками провожали. Как-то ненароком услышал я от тяти, что баринова родителя при покойном царе Петре Алексеевиче, Царствие ему Небесное, на кол посадили за единое подозрение в сочувствии к убиенному царевичу Алексею, Царствие ему Небесное. Жалко мне стало Ивана Михайловича. Ведь и моего деда Арефия живьем на Болотной площади сожгли за знахарство и колдовство.

Дед Арефий ходил со скоморохами по Руси и лечил травами болезных и калечных. Сам себя вылечил однажды, когда брюхом замаялся: приставил к пупку кувшин, смазав посуду салом с нутра, и паклей выжег из нее воздух. А до того мучился с неделю. Кувшин присосался к пузу и всю хворь скрозь пупок у деда и вытянул. Мечтателем дед Арефий был с люльки, мечтательство его и погубило. Сидел он как-то на бережку Москва-реки, на солнышко поглядывал и размышлял: вот солнышко воду снаружи греет. А ежели поставить в реку трубу громадную и ту трубу накалять, вода быстрее согреется, и купайся сколь влезет. До такого дела у деда руки не дошли и денег не достало, однако сотворил он схожее в малом размере. Царь Алексей Михайлович, тайно привечавший скоморохов, жаловался деду, что поколь ждешь, когда вода на печке закипит, квасу напьешься — и чаю не хочется. Вот тогда-то дед и смастерил самокип. Так после того самодержец ни на шаг его от себя не пускал. Дед разведет самокип, царь семь потов сгонит и хвалит: “Такого чаю я отродясь не пивал и не хлебывал. Уж не колдун ли ты?..” Царь в шутку, а попы взабыль говорили. Урезонивать царя они и не думывали, однако затаили зло на деда. А уж после смерти государя в стрелецкую смуту тот самокип дед Арефий на Москва-реке в верейке малость помял о башку дьяка, а самокип на дно ушел. В шведскую войну приказал царь Петр из колоколов пушки лить. А дед Арефий в ту пору удумал новый самокип строить. Да тут на него донос: дед, мол, казенной меди тринадцать фунтов извел в ратное время. Высекли его и сослали в Миловзорово. После новый донос — достали деда честные отцы. Пытали его в Преображенском приказе, сам князь Федор Юрьевич Ромодановский в синей ферязи и горлатке допрос вел, по сказке и расправу подписал — сжечь деда на Болоте. В доносе отписано было, что дед такую посудину, коя, не будучи нагреваема снаружи, сама доводит воду до белой кипени, придумал с бесовской подмогой. И в послухи взяли друзей дедовских, бывалых скоморохов. Тех тоже пытали, чтоб лжесвидетельствовали против деда. Только один выдержал, да помер от пыток. Иные к доносу тоже руку приложили...

В ту пору, покуда я латынь и французский с арифметикою постигал, Иван Михайлович нет-нет да и приложится к клюковке. Четверть опорожнит и сызнова скажет, как в иные дни: “Знобко и сиротно мне, Асафий...”

- Вот выучишься, — обещал, — я тебе вольную отпишу.
- Грациас эго, — отвечал я, стало быть — благодарствую.
- Скажи, Асафий, ежели разбогатеешь, что делать станешь?
- Слона куплю.
- Ну! Где ж его держать-то?
- Терем особый построю...

На пятом году обучения моего преставился четырнадцатилетний император Петр Алексеевич, Царствие ему Небесное. Хоронили его в Москве в Архангельском соборе, как сказывал Иван Михайлович. Ездил барин в Белокаменную, а чтоб я не скучал, оставил мне “Санкт-Петербургские ведомости” прошлых годов. Занятно было читать их. В одной газете писалось, как какой-то капитан напоролся на бердыш, отдавая честь цесаревне Елисавет. А царица Екатерина, Царствие ей Небесное, приказала отнести его в палату и, покуда капитан болел, не отходила от него. Не разумел я, отчего барин своему знакомцу Василию Никитичу говорил, что покарал Господь добрую царицу. Вот-де и Меншиков харкал кровью перед ссылкой, и трое детей царя Петра преставились тоже, ибо Петербург — место проклятое. Что мужская линия династии Романовых прервалась по Божьему промыслу, что клеймо Каина на каждом камне сего сатанинского города. Василий Никитич хмурился, серчал, говорил всуе, однако барин мой не соглашался с ним. “Так вы оттого рассуждаете, — сказал Василий Никитич, — что простить не можете Петру казнь отца вашего. А вы ведь христиане. . .” Иван Михайлович отвечал: “Подождите, Василий Никитич, они и до нас с вами доберутся...” — “Глупости какие! — ярился Василий Никитич. — Не для того под Полтавой я дрался под началом Петра Великого со шведами, чтоб вы сегодня мне такое напроорочили!..”

Когда мой крестный поведал, что во Всесвятском стоят преображенцы и отряд кавалергардов, что готовится коронация Анны Иоанновны, Царствие ей Небесное, — порешил взять и меня с собою в Москву на коронацию. Зимой мужики с бабами на печи тараканов давят, девки на посиделках прискучившие песни поют, к весне все гашники затягивают потуже, вешний пир капустой давят, да и та вышла. Так чего бы, сказал мой крестный, тебе со мной не отправиться? Перекрестила меня матушка на дорогу, Тимофей тройку запряг, и под колыханье позвонков отбыл наш возок.

В Москве мы с крестным и Тимохой поселились на Моховой у Василия Никитича. На Благовещенье пошли мы в певчие ряды, барин купил клетку со щеглами, и мы всех птиц на волю пустили. После всенощной Тимофей объелся пеклеванных жаворонков и корчился от утробной боли. Отпаивали его парным молоком, да ему не легчало. В те поры от всех хвороб парным молоком лечили. Вещие бабы по тем временам боялись травы свои пользоваться — хоть ведуньи стереглись и страшились на них доносить, однако суд все едино дознавался про их колдовство и вершил единую сказку: сжечь живьем на Болоте, как деда Арефия.

Василий Никитич служил тогда главным судьей в Монетной конторе. Вели они с крестным моим разговоры ученые, дюжие споры, как и допрежь, возгорались. Иван Михайлович вторил, что царь Петр с благой целью повенчать хотел европейские порядки с татарским законом. И что настоящего закона люд российский отродясь не ведал. Что у нас русский так и норовит извести ближнего, ежели не мытьем, так катаньем. Что и катанья не получилось, а получилось катство, сиречь палачество, а мытье обернулось мытом непомерным. Что царедворцы, ровно мизгири, съедят друг друга, а короною будут управлять немцы. Василий Никитич согласия на оные мысли не давал, однако правоту того, что русский своего же соседа утопит, ежели тот не по его живет, а немцы вытянут из проруби любого соотчика, признавал и говорил, что на Кукуе — немецкой слободе в Москве — иноземцы живут дружно, хоть и латинской веры.

На коронацию звон по Москве стоял, инда друг дружку в трех шагах не слышать было. Пушки и ружья палили беглым огнем. Фейерверки овечерь над Красной площадью вензеля чертили. А в самом Кремле, когда царица из Успенского собора вышла, начали бросать в народ жетоны золотые и серебряные.

Василий Никитич достал моему крестному водяную бумагу с приглашением, а мне поминок выдал: кафтан с портками и сапоги узорные. И повез барин меня и Тимофея в Грановитую палату. Ошалел я слегка от тамошних красок и огнеств, от многости великой орденов и кафтанов, заморских буклей, что вельможи носили, аки бабы, завитыми до плеч.

Самодержица сидела за особым столом, в отлучке от всех. Всякий раз, когда ей на стол яства подавали — а подавали их, как сказал барин, сами полковники, — по бокам полковников шли два кавалергарда с карабинами в руках. “Ружья и охрана, чтоб по дороге кушаний никто не упер?” — спросил я барина. Он осклабился: “Может, и так...”

На Анне Иоанновне была корона и багряница, песцами отороченная. Про багряницу я уже с картинок знал. Лицо у императрицы — лунявое, сверкучее. Волос вороной, а очеса синие с вороным отливом. Хоть и затянута была натуго, однако дебелая, ровно наши девки милловзоровские. Когда она с кубком золотым мимо нас прошла, узрел я ее персты в брильянтах, запястья в шнурочках, ну чисто как у младенца. На груди цепь брильянтовая ордена Андрея Первозванного. Барин сказал, что тот орден никому из цариц поднесь не возлагали.

Через два дня отбыли мы до дому. Тимофей поохивал, живот у него не отошел. Вез я четыре фунта винограду и царицыны жетоны. В обрат по вешняку в колымаге добирались, потому как ростепель снег шершавым языком слизала.

Как вернулись, все село в избу к нам повалило — матушка всякому по виноградине давала и жетоны показывала. Тятя ворчал: “Ране-то червонцы бросали, а нонче казначейщики прижимисты стали”.

Тимофей как приехал, так на печь и залег. Матушка моя настои травные ему давала, да не помогало Тимошке. Я-то парень был развытной — мигом сообразил, что коль травы не помогли, надобно лечить по-иному. Рассказал Тимофею, как дед Арефий самого себя

исцелил. Тимоха ответил, постанывая в овчину: “Валяй, пупок токмо ненароком не развяжи...” Принес я ему кувшин молочный, Тимофей портки спустил, я лучину зажег, поводит ею нутро посудыны, приставил ее к пупку Тимохи, а кринка к пузу не липнет. Разов пять так пытался присобачить кувшин, после вспомнил: салом живот и закраины кринки не смазал. На шестой раз посудины прилипла намертво. “Сколь так держать-то?” — спросил Тимофей. “Чем боле, тем вернее”. Тимошка поначалу молчал, а через час как завопит: “Мочи моей боле нету!” Тянет кувшин, а тот не отлипает, вместе с пузом тянется. Видать, полпуза у Тимофея в нутро кувшина ушло. “Ирод! — вопил Тимоха. — Ескулап хренов, что ты со мной наделал?!” Про латынь-то уж и не поминает. Бегу я к отцу Василию, говорю — Тимофей кончается, кабы без причастия не помер. Отец Василий рясу в руки — и со мною к Тимохе. Прибежали, оглядел батюшка вопящего Тимофея, дал мне в потыл загребью мозолистой, я инда под образа полетел. Пошел батюшка в сени и вернулся с топором. Тимофей глаза вылупил. “Ты что, — с крику разом на шепот перешел, — дай сам отмучаюсь, не кончай до сроку...”

Отец Василий размахнулся и хватъ обухом по корчаге. Та на мелкие верешки и расселась. “Богат Тимошка, и кила с лукошко”, — рек батюшка. А я трясусь от смеху. Тимофей свою килу в десницу зажал, и слезы у него безгласные льют по сусалам. “Чего ревешь-то? — спросил батюшка. — Ай больно?” — “Отпустило, — смирился Тимофей. — Токмо что я с выменем оным на пузе делать буду?” — “Ничто, — ответил отец Василий. — Живот на живот — и все заживет...”

Брюхом Тимофей с той поры не болел. А после исцеления такой у него вдруг бас открылся, что с окрестных деревень съезжались подивиться. Заодно рассмотрела и расслушала его Дарья-вдовица, и промеж них началась тайная любовь, потому как Дарья приохотилась трубы слушать, когда они во Всесвятском играли, а у Тимохи глотка стала что твоя иерихонская труба.

Через лето, как хлеб сжали, беда у нас стряслась. Петька Куцый половину урожая с каждого двора забирал. Жили мы и так небогато: во всяком дворе по две коровы, по паре лошадей, куры, свиньи, утки, индюки и боле все. Так Куцый приказал еще по двести яиц к Покрову сдать. А уж сливок и масла невесть сколь. С барщины мужиков и баб отпускал только на два дня. Зароптали мужики, однако Куцый пригрозил, что отдаст смутьянов в рекруты. Пошли мужики к барину. Никогда не жаловались, а тут два неурожайных лета впримык. Прослушал их мой крестный и пошел к Петьке Куцему с ними. Не успел Петька припрятать всю муку. В амбарах его хлеба было что у барина в усадьбе. Мужики вломились к нему в каменную службу и самочинно вскрыли сундук. А в нем золота и червонцев на пять тыщ рублей. Барин приказал золота не трогать и только молвил Петьке: “Сам в рекруты пойдешь...” Озлобился Куцый. Через два дня приехала подвода с сержантом и двумя солдатами. Забрали они нашего барина в Тайную канцелярию, сиречь бывший Преображенский приказ. Куцый объявил на барина “слово и дело”, а в Тайной канцелярии знамо что — кнут и дыба. Описали все имущество в усадьбе, однако Тимофей допрежь успел захоронить от канцелярщиков барские книги, скворца Степку и две картинки с валетом и пастушкой.

Через четыре недели привезли Ивана Михайловича мертвым. Пытали его три раза на дыбе с виской и встряской. Ни в чем он не признался. Куцый извет на барина возвел, будто мой крестный нарочно в рекруты пьяниц отдавал, чтобы турки и шведы побили нас в ратном деле; что говорил он супротив покойного царя Петра Алексеевича и будто бы хотел крестьян в латинскую веру обратить — посему и учил слугу своего и холопского сына латинской грамоте.

Хоронили Ивана Михайловича на церковном погосте. Бабы выли, мужики молчали, когда домовину-шестидоску под молодым кленом зарыли. Тимофей звал мужиков поджечь двор изветчика, да отец Василий воспретил:

— Еще хуже будет. Всех тогда в канцелярию поволокут...

Куцему от Тайной канцелярии, по приказу ее начальника генерала Ушакова, за донос пятьдесят рублей выдали, прямо как годовой оброк выплатили. А вскоре после похорон пришел указ из Сената, что наше безотчинное село переводят к Петербургу, дабы пустующие земли крестьянами укрепить, потому как столица боле нужды имела в работниках, нежели Москва. Так и называли нас в канцелярских бумагах — “переведенцы”.

Уложили мы на телеги скарб свой и неторопко потянулись к Питеру вкупе с образами и коровами. До Троице-Сергиева монастыря дорога шла справная, без ухабов и колдобин. В сохранности была еще со времен Алексея Михайловича — царь по ней всегда на богомолье ездил. Да и нынче была ухожена, в селах старые станы содержались. А уж после Твери пошли исконно российские большаки с ямами и заторами. Про болота и сочу и говорить нечего.

Добирались шесть недель. Как приехали, прознали, что приписали нас к дворцовому хозяйству — стало быть, хозяйкой нашей была сама самодержица в брильянте Андрея Первозванного. Поместили нас в пустом селе Раменки. И чудилось, что никуда-то мы не переселялись: под Москвой Раменки лежали тож. Тутешние бабы и мужики разбежались с голодухи. Хлеба стояли неубранные. Вот беспаспортных переселенцев и гоняли из пустого в порожнее, с одной прорехи заплату отдирали и ладили к иной прорехе. Латинцы сию политику назвали “перпетуум-мобиле” — на Тебе, Боже, что мне негоже.

Зима в тот год была голодная: хлеб мы пожали исполу да еще Куцый позабирал на дворцовые нужды. Да на мельнице казенной на распыл по шесть фунтов мельник удерживал. К Великому посту у мужиков зубы исшатались и выпадать начали. Трое многодетных не то в Литву, не то в Польшу уехали. А моего брата Никиту Петька Куцый велел под барабаны отдать. И тогда Никита с двумя парнями надумал тоже в Польшу податься. Кому ж охота идти колотить турок! Устал народ от размирицы и размету вечного.

— Бьешься, бьешься, — нудил Никита, — а продыху никакого. Чудеса в решете: дырок много, а выскочить некуда! Убегу я, тятя, ей-богу!

— Славны бубны за горами, а подойдешь — лукошко, — сопел тятя, а так больше молчал. Единый раз только упредил: — Смотри не навратись в римскую веру...

Однако не успел Никита бежать. Двое его товарищей успели, а Никита припозднился. У него девка была, он с нею три дня перед разлукой в овине провожался. Прознал ли Куцый про замысел Никиты иль носом почуял, как легавая, только пришли в Раменки наборщики, покумекали малость, что с одного Никиты прибытку от призыва не станется в кармане, и заодно с Никитой забрали двух сынов Куцега, загодя испросив у отца барыш на обмундировку. Пришлось Куцему выкладывать десять червонцев.

По весне матушка кашу из бересты варила вперемешку с молодой стрекавой. Тут еще подати правительство надбавило, фискальщики покою не давали, и порешил тятя нашу буренку продать. Матушка поплакала, надела на шею буренки ботало, дала нам с тятей по ковриге на дорогу, и мы отправились в Питер. Поехали с нами Тимофей и отец Василий. Батюшка свечей для храма должен был закупить, а пуще всего желал, чтобы в столице услышали, как басит кондаки и акафисты латинист раменский. Авось-де к месту пристроится.

Тятя привязал буренку к заднему облуку телеги, и повели мы нашу кормилицу в город. Ехали по изрытой колее промеж ражих дубов, угладистых осин и березовых ёрников. Колесили потихоньку и помалкивали всяк про свое. Только заднее колесо в телеге поскрипывало да звякало ботало.

— Батюшка, — спросил тятя, — а с чего у Тимошки голос-то прорезался на двадцать пятом году? Ума Бог не дал, а голосина вон какой — на сотню мужиков хватит да на полсотни останется.

— У богатого гумна и свинья умна, — рек батюшка. — Дондеже худо человеку, и золото не поможет. И тогда открывает Господь в человеке талант, искра Божия в душе возгораться начинает. Талант — он, как и спасение, сквозь узкую тропку дается.

— Стало быть, — осклабился тятя, — коль кила на брюхе, у того таланту много?

— Килы нету! — вошел в обиду Тимофей.

— А ты не гавкай! — Тятя хлестнул кобылу кнутом. — Дашка, поди, уплешила?

— Ты что, Николай, — сказал тятя батюшка. — Отрока не порти.

— Сафку-то? Глянь на него — выше всех нас на голову, скоро сам...

Не успел тятя досказать, что я буду делать сам, как на развилье узрели мы четырех пеших и двух конников.

— Царица Небесная, — натянул тятя вожжи, — уж не питерские ли подорожники?

Кобыла пошла тишком, а мы все на мужиков глядели. Когда с ними поравнялись, один конник поставил коня впереймы большака, и телега встряла.

— Куда путь держите? — спросил конник-бородач.

— В город, — ответил тятя.

Вот ведь прежнее распутье проехали мы — и не перекрестились. А на крестце, знамо дело, черт яйца катает. Наслал нечистый разбойников. На московских-то дорогах у всякой ростани крест стоял, а здешние места только обживать начали.

— А корову куда ведете?

— Продавать. Отец Василий слез с телеги, рясу оправил и к коннику подошел.

— А вы откель, православные? — спросил он.

— А по твою душу, батюшка. — И конник огрел отца Василия плетью по спине. — Федька, бери корову!

— Креста на вас нету, мужики! — закричал тятя и ринул к заднему облуку, где пеший уже веревку отвязывал. — За что ж вы...

— Не плачь, рыбка, — ответил пеший, что буренку отвел обочь, — дай крючок вынуть.

— Господи Христе, — перекрестился отец Василий, — спас вора Ты на кресте, отведи иное горе и спаси крест на воре! — Батюшка прыгнул на конника и яко былинку шмякнул его на землю. — Тимофей, чего зевало разгаял?!

Тимофей двинул по всей варе пешего, что корову ослобонил, а батюшка уже второго конника благословил. Двое мужиков вынули из-за голенищ тесаки, однако я дубину успел схватить из телеги и хряснуть их по рукам. Батюшка уложил конников друг на друга и хлестал их ихней же плеткой. Четыре подорожника взапуски дали стрекача в лес.

Тятя с батюшкой связали пойманных армаев и уложили их на телегу. А мы с Тимофеем сели на двух лошадей и тронулись следом.

— Куда повезли-то? — спросил бородач, огревший батюшку кнутом.

— Куда надоть, туда и свезем, — ответил тятя. — Сдадим в разбойный приказ, а там, вестимо, разговор недолгий — колодки и Сибирь.

— Отпустите, добрые люди, — сказал бородач жалостливо.

— Ты, пустосвят кривое рыло, — сплюнул отец Василий, — кого разбить удумал? Нищего мужика, такого ж, как ты сам. Давно армаишь?

— С весны, — ответил бородач.

— Оно и видно. Кто ж на четырех мужиков шайку малую пускает? Аники-воины, прости Господи. Нехристи окаянные.

— Детишки мал мала меньше, — продолжал нудить другой слезливый вор. Бородач, однако, помалкивал, только глазом на батюшку косил.

Дорога уклоном пошла в разлог. Проехали еще с версту. Я спросил у бородача:

— Как звать-то?

— Санька Кнут.

Жалко мне стало мужиков: как же своего брата в руки приказных передавать?

— Отец Василий, может, отпустим?

Видать, тот тоже поостыл:

— Чего, Николай, делать будем?

— Пушай идут куда хотят, — буркнул тятя, глядя на дорогу.

— Зла никогда не забываю, — молвил Санька Кнут, — но и добрые дела помню накрепко. Коль нужен буду — найдешь меня за Стрельненским большаком.

Батюшка снял веревки с армаев, мы с Тимофеем отдали им лошадей. Мужики поклонились батюшке в пояс.

— Федька, на конь! — скомандовал Санька Кнут.

— А и ловок ты, отец Василий, — сказал тятя, когда мужики ускакали. — Кабы не ты, увели бы у нас и буренку, и кобылу.

— Я отроком вручь хаживал. Бить по лицу боялся. Схватишь за пояс и швырнешь подале. И поднесь не могу бить по образу...

В получасье мы одолели остаток большака и выехали на околицу Питера. Поначалу я все дивился на дворцы и прямые, аки палки, прощепты. Куда ни поедешь — везде одна прямина, захочешь — не заблудишься. Нева ширше нашей Москва-реки. Мостовые булыжником и досками уложены, и выбоин на них не мене, чем в Белокаменной. На одном мосту колесо у нашей телеги промеж досок застряло. Доски повыгнули. Пришлось слезть и толкать телегу сзади.

В мясном ряду купили у нас буренку, загодя со всех сторон щупали ее, разве что под хвост не глядели. Тятя выручку в тряпку замотал, медяки в шапку спрятал, а тряпицу в пазухе устроил.

На обжорном рынке тятя купил два мешка муки, а в царевом кабаке потчевал нас жареными карасями. Мяса не ели — была пятница.

Телега сызнова заколесила по прощептам. Уже Фонтанку миновали, стали вправо поворачивать, только за угол выехали — тут наша кобыла как заржет, чуть не вздыбилась. Глядим — на нас громила серая идет с клыками и ушами чуть не в сажень. Клычищами на

нашу кобылу кажет. А кобыла пред громилой — как плотва перед щукой. Отец Василий крестное знамение сотворил, тятя вскрикнул: “Царица Небесная, спаси и помилуй!” Вожжи на себя тянет, а кобыла несет и несет, ровно телеги-то и нет.

Вперёд барская карета — кобыла метит прямо в нее, башку вбок держит, глаз левый на нас пучит. Мы чуть в ту колымагу не врезались. Мужик на передке поносить нас стал. Дверца колымаги расхлестнулась, и выглянул из нее барин в парике и малиновом кафтане.

— Прости, барин, Христа ради... — Тятя шапку сорвал с себя.

Поглядел я на барина и говорю:

— Доброго здоровья вам, Василий Никитич!

— Откудава меня знаешь?

— А помните, сапоги козловые и портки с кафтаном мне поднесли?

— Асафий! — Василий Никитич из кареты вылез. — Ты, однако, вымахал истинно верста коломенская. Как там Иван Михайлович?

— Второй год пошел, как представился.

— Как?! — Василий Никитич брови вскинул.

— В Тайной канцелярии запытали, — ответил за меня отец Василий и перекрестился.

Рассказал я Василию Никитичу про Ивана Михайловича, вздохнул он и молвил:

— А меня на Урал посылают заводы надзирать. Иван Михайлович верно предрек, что и до меня доберутся. Следствие начали по моему делу на Монетном дворе. В казнокрадстве обвинили. Нонеча не знаешь, где будешь к завтраму. Все дела не в Сенат, а в Тайную канцелярию идут. В доносы Россия пустилась. Засилье чужестранное одолело. И тут прав оказался твой крестный. Вот едем мы с вами, а я ловлю себя на том, что хочу оглянуться — не подслушивает ли кто... Значит, вас к дворцовым приписали? Слона-то, поди, первый раз узрел в натуре?

— Впервой. Мне бы вот, Василий Никитич, за слоном ходить, и боле ничего не надо.

— Приезжай через три дня. Устрою я тебя при слоне, покуда в Сенате слово имею.

В Раменки мы вернулись без Тимофея: протодьякон певческого хора мигом взял его к себе, едва Тимоха затянул “Коль славен...”.

Через три дня прибыл я в Питер, но слоновый комиссар был в отлучке, и меня до его приезда определили в минажерию, сиречь зверинец. В тот же день увидел я Тимофея и чуть не упал: голорылый, сусала белели, аки сахарные. Парик напялил, пудры на парике фунта три, зеленый кафтан и голубой камзол — ну чисто Иван Иваныч с Кукуя. Тимошка смурным был, будто свеча нагорелая. Кряхтел, кряхтел, после спросил:

— Ты на двор ходишь?

— А как же.

— А я третьи сутки живота не развязываю. Не помереть бы.

— С чего?

— На кухне хлеб дают, жру его и жру, а по нужде не тянет. — И приник с пошептом к уху моему: — Я так мыслю, немцы какую-то отраву в муку кладут, чтоб нас, русских, извести...

— Болит брюхо-то?

— Да не болит, а все ж таки...

Вдоль Фонтанки сад раскинулся. Нынче сада того нету, на его месте Михайловский замок воздвигнут, в коем задушили императора Павла Петровича, Царствие ему Небесное. Поселился я в домишке, где жили садовый подмастерье и его ученики. Околь домишек заприметил несколько дерев с аркадскими яблочками. Подмастерье ведал посадкой кленовых стволов. Ученики смотрели за грядками — их тут было боле трех сотен, засевались они травами и кореньями для царского стола.

Каморка моя крестовинным окошком на юг смотрела. Аршин в ней было семь на восемь. Я перевез к себе дедов самокип, что на подволоке у нас валялся: тятя разводить его запрещал, потому как самокип на костер деда Арефия привел. Развесил на стене картинки “Дама и валет желают ананаса” и пастушку с пастухом. Клетку со Степкой у окна устроил, книжки покойного крестного в шкафу расставил. Из дворцовой конторы выписали мне свечей сальных и лучины дубовой. Хоть в оной земле с начала лета ночей не бывает, однако свечи я набрал про запас, чтоб к осени можно было под вечер книжки читать.

На заре меня не петух, а Степка Иисусовой молитвой будил. Подмастерье как услышал Степку, обсмеял меня: “Почто тварь неразумную молиться научил? Попугая заведи, веселее будет, особо коли с матросами жил...”

По первому дню досталось мне клетки лисьи чистить, напилки на тачке возить, воду таскать и пятерых медвежат кормить, что за высокой загородью бегали по лужку. Сбежались они, аки ребята малые, когда я в колоду вывалил им вотрбину медвежью. Принялись отпихивать друг дружку, чуть не грызлись из-за куска малого и взахлеб трапезничали и урчали. Кончили пузо набивать и сызнава шалить начали, oprичь одного, у коего гузно с белой отметиной было. Малолетка языком облизал черный нос в махоньких щедринках, блестящий, будто смазанный сапог, и ко мне бекренем подкатил. Обнюхал мослы мои, встал на лапы, ровно сказать что хотел. Присел я на закортки, он и впрямь в ухо мое ткнул своим мокрым носом и сусала мои облизал. Хоть и скотина бессловесная, а все ж отблагодарить норовил.

— Ну что, — спросил я, — без мамки и тятки пожалеть некому? Как тебя кличут? — Мишка лапой по потылу мне провел и сызнава целоваться полез. Я на руки его принял, пуда два уже тянул. — Стану тебя Лизуном звать.

Тут его товарищи увидели, что я Лизуна на руки взял, кубарьками ко мне подкатились и тоже на руки проситься стали. Самый крепенькой дружков лапами по мордам лупит, не дает первыми ко мне подлезть. Принялся я с ними по траве валяться, кучу малу устроил — не работа, а яблочко аркадское...

Через неделю персиянин Ага-Садык, при слоне состоявший, повел меня к комиссару. Комиссар, чиркая по грамоте облезлым пером, объявил, что отныне я должен неотлучно при слоновой храмине быть, зачел инструкцию, чтоб я не бегал к нему за всякой тютелькой, и рек:

— Приложи руку к бумаге. Крест здесь поставь.

— Зачем крест-то? — спросил я. И фамилию свою вывел.

Комиссар оглядом с маковки до мослов вымерял меня и ошурясь спросил:

— Где грамоте обучен?

— Барин покойный обучил.

— Не врешь?

— Корысти нету.

Слоновый комиссар ящик из-под столешницы выпихнул и книжку с застежкой достал:

— Читай.

То был молитвослов. Видно, комиссар его и не открывал — страницы слиплись дружка о дружку. Перстом комиссар сунул в буквицы и указал:

— Отсель.

— “Агница твоя, Иисусе. — Имя в тропаре не значилось, и я первое, что на ум взошло, провозгласил: — Анна зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчеству и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему...”

Комиссар подошел сзади, покуда я читал, и тоже глазами, верно, бегал по титлам.

— Вишь ты, — молвил он, застегивая книгу и вернув ее в ящик. — И впрямь не соврал. Ежели потребно будет, позову. Рука у тебя ясная и почерк обловатый, как положено. Ступай...

Через Третий сад спустился я к Фонтанке и дошел до слонового амбара. Храмина была срублена из толстых сосновых бревен, с оконцами под самой застрехой. Створки ворот с чугунными петлями закреплены на вальящатых верях. Околь служебного флигеля

копошились и трещали воробьи. Расхлопчивая дверь скрипела на ветру, у конюшни куры с петухом грелись на солнышке, зарываясь в теплую пыль .

Во флигеле жили приемщик слонового корма Пафнутий Сырцов и Ага-Садык. Не успел я войти, как приемщик молвил:

— Поедешь со мною принимать довольствие. Той слон за день пожирает, сколь коровье стадо не пожрет. И еще морду воротит, коль не по вкусу ему сарацинское пшено сварили, хлебать мой синий хобот.

В канцелярии писцы стрекотали перьями и счетами. Приемщик прошел к подьячему, тот протянул ему бумагу. Как выходить стали, я в бумагу глянул, а там писано:

“Сарацинского пшена — три пуда, сахару — два пуда и три фунта, муки пшеничной — шесть пудов, масла коровьего — один пуд, соль — десять фунтов, пряности — десять фунтов, вино виноградное белое — одна бочка”.

— А зачем вино-то слону? — спросил я дядю Пафнутия.

— Для сугреву. Летом — вино, зимой — водка. По уставу положено.

За бумагу приемщик крест в канцелярских расчетах поставил, однако бумагу держал как надобно — не вверх ногами, а так, чтоб печать снизу была. Соображал.

Притащились мы на склад. Огрузлый важник положил на тберезы мешок муки, посмотрел на планочку с рисками — в аккурат три пуда было в холстине.

— Забирай, — сказал важник.

Никогда еще я в супость так не впадал: мужик у мужика ворует, да еще в открытую, с честными глазами.

— Ты, мил человек, — сказал я, — еще мешок клади.

Варя у мужика алым цветом пошла, а после багрецом отливать стала.

— Отколь такого грамотея выискал? — спросил он дядю Пафнутия.

— Нонеча пришел.

— И до какого счету обучен считать?

— До шести пудов, как в бумаге отписано, — сказал я.

Растебай инда позеленел, аки камень изумруд. И молча бросил на весы еще мешок муки. Дядя Пафнутий смотрит то на меня, то на весовщика.

— Пшена сколь? — набычился огрузник.

— По бумаге, стало быть, — ответил я.

— Сколь?

— Сколь, дядя Пафнутий?

— Как допрежь, два пуда.

— А мне чудится, три, — сказал я.

Тут растебай все отвесил, как положено было по бумаге. А дядя Пафнутий спросил:

— Ты что ж, Макар, два года я тебе верил, а ты два года воровал, и не только у слона, а и мою долю к себе в карман ложил...

— Иди доноси, коль ты такой честный...

— Вот что, — умирчиво молвил дядя Пафнутий. — Готовь еще столь же корма слону и для меня тоже. Оный отвезем и за остатком вернемся.

— А коли не дам, комиссару доложишь?

— Дашь, куда ты денешься. Трогай, Асафий...

Из неожиданного прибýtка дядя Пафнутий отделил мне мешок пшеницы, сахару, масла и сарацинского пшена пуд.

— Мне такого не полагается, — молвил я, рассупонивая хомут.

— А мне полагается? — ощерился дядя Пафнутий. — Эх ты, отрок. Где ты нонеча неворованным жить сумеешь? Все у мужика крадут, мужику толику вшивую оставляют за то, что воровать позволяет у себя же, а мужик вот чистоплюя корчит, ну что тебе Иосиф Прекрасный! Алтынный вор на кол, а рублевый в почете...

— Слону возвернуть надлежит, — вперечил я.

— Не слону, а матери с отцом возвернешь. Поезжай до дому, отвези прибыль и вертайся. А станешь супротивничать, пойду к комиссару, грамотей лопоухий. И еще вот что: будешь учить меня грамоте и цифири.

— А что ж ты комиссару скажешь?

— Что к слону тебя допускать не можно: дух от тебя такой, что слон в волнение впадает великое и может храмину разнести. Езжай, пентюх!..

Погнал я телегу через Второй сад, где не возбранялось гулять простому люду. Вдлинь обочин справа и слева еллинские идолы без рубах и портков стояли, с отбитыми пальцами и иными мелкими частями. А под ними всякие картинки углем обозначены на целиках — верно, гуляющие забавлялись. Вижу, под козлиным богом Паном с цевницей в руке подпись: “Аква эт панис — вита канис”. Мол, хлеб и вода — жизнь собачья. Успел Тимофей руку приложить. Опречь него никто того козлиного стиха начертать не мог. Покойный крестный говорил про какого-то тятю римского, что в молодые годы проповедовал иное: панис эт аква — вита беата, сиречь: хлеб и вода — блаженная жизнь.

Добрался я до Раменок за полдень. В избе никого. Тятя с матушкой царщину отработывали. Сгрузил я слоновое жито в сених, квасу испил, засыпал кляче в ясли сена с овсом и собрался было в обрат. Тут ввалился в избу Тимошка с мужиком ражим — тоже голорылым, в парике и башмаках немецких. Мужик что-то пел то ли по-немецки, то ль еще по-какому. Может, и по-нашенски, да не разобрать, потому как оба веселы были.

— Выпьем, Сафка, за отца Василия, — сказал Тимофей, варежку открывая. — Расстригли его, и отбыл невесть куда.

— За что расстригли? — вскинулся я.

— Куцый донес, будто требу справляет кажен раз пьяным. Куцый, аспид, теперь на конюшне служит у Бирона. А то мой друг Лешка, с Малороссии он...

Тимоха сел к столу и голову зажал в обхват руками. Я уместился впримык к нему. Вот как вышло — отца Василия упекли, а я ничего не знал. Куцый сызнава пакостить удумал. Лешка достал из кафтана полштофа, однако я сказал:

— Тимошка, не пей боле.

— Да пошел ты, — ответил он. — Я не пью, я думаю. Лешка, налей что-нибудь подумать... Дарья мне от ворот поворот...

— Не кручився! — сказал Лешка. — Втямку, яки дивчины во дворце? Ты у нас во який казак. А казак коли не пье, так вошей бье, но не гуляе. Пей!

— Не буду! — Тимофей гвозданул кулаком по столу. — Хочу думать...

— Шо думы-то? З них толку нема, — восперечил Лешка. — Живем як желуди: кругом дубы и всяка свинья съисть тоби норовит...

— Сафка, где самокип? — потребовал Тимофей.

— Що це за самокип? — удивился Лешка.

— Я его в Питер увез!

— Так пиихалы в Питер.

— А ты-то сам чего здесь? — спросил Тимофей.

— Муки да сахару с маслом доставил.

— Це добре. — Лешка налил себе в кружку из штофа.

— Где взял-то? — спросил Тимофей.

Я поведал ему все как было.

— Считаю, что слон твой — великий постник. — Тимоха икнул. — Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Наш протодьякон Александр выпивает и поедает вобыденку

что пять твоих слонов. И жалованье ему идет великое, в два раза боле, чем всем попам и монахам во дворце. Отец Василий хлебом да водою перебивался, а протодьякон нажрется щей и квасу вперемешку с полупивом и гданской водкой здешнего сиденья, а то и шампанью потроит памятный бокал. То у него малая закуска. А великая жареным поросем с кашей. А уж после и телятина с брусничкой.

— Аква эт панис — вита канис, — сказал я.

— Що це таке? — спросил Лешка.

— Хе, — ощерился Тимофей, — латинская мудрость...

— А чего тебе чужой карман покою не дает? — спросил я.

— Чего-чего? Протодьякон — балахвост. Храпит целый день и боле все.

— Не судите да не судимы будете, — всперечил я.

— Никшни, орясина! — возопил басом Тимофей. — Миротворец нашелся. Тебя доголу разденут, а ты все одно будешь кадычить — спаси вас Бог... Безгунник голозадый.

— И безгунный не без савана.

— Покойный барин вторил по Писанию: трудящийся достоин пропитания, а не трудящийся...

— Пье! — крикнул Лешка. Красавец парень был. Косая сажень в плечах, зрачок каурый, что у моей притомчивой клячи, волос черный, а нос как у еллина — прямой, хоть на салазках съезжай.

— Ты чем работаешь? — спросил я Тимоху. — Горлом да языком. А сколь червонцев за горлодерство получаешь?

— Сколь есть, все мои.

— А пашню сохой троит за тебя да меня мой тятя. Вот и выходит, что мы с тобой тоже балахвосты, как и твой певун-хлебун протодьякон, что шампань щами закусывает. Шампань-то вкусная?

— Дюже гарна, — икнул Лешка.

— Пузырями только через нос выходит, — сказал Тимоха.

Неведомо отчего Лешка нежданно схапал меня за грудки и возопил:

— Тимошку забижать, бисов сын? — и замахнулся на меня своей кувалдой.

— Пусти Сафку! — Тимофей к нам подскочил. — Кабы не он, был бы я в Раменках безгласным певчим поднесь.

Лешка рухнул на стол и захрапел. Не суесловен был певчий. Таким на весь век и остался. Выучился говорить по-русски, однако никогда не проговаривал “ге”, все на выдохе “хе” выходило. Мягонько этак стелил, жестковато в ином случалось. И не он судьбу свою выбрал, а она его ударила с носка. Видать, он про то соображал и никогда не подличал, летая поверху орлом, и хоть мшелоимствовал вдругорядь, за мухами, однако, не гонялся.

Постелил я мужикам овчину на печи и потрусил назад в город, к слоновой храмине. Утром дядя Пафнутий велел ехать по воду — слону на день бочки не хватало. Я на телеге отвалил к Лиговскому каналу — там вода здоровее была, чем в Фонтанке. Привез и стал бадьей в храмину таскать, в иную бочку, что в амбаре околь слона стояла. Покуда наливал, слон хоботом подрагивал и с ноги на ногу переминался. Смерд в храмине стоял зело великий, но потом я обык. Кожа на слоне схожа была со старой нестираной холстиной — вся вморщ. Уши — ровно лопухи в балке раменской, такие ж шершавые. И глаза облые и махонькие, однако зыркие. Как я последнюю бадью в бочку вылил, слон хобот ко мне протянул и шасьть прямо в мой карман. Весь сахар, что я для него приберег, в хайло свое отправил. Нижняя губа у него потешная — углом, будто нос у верейки. И два клыка — чисто рога, только из пасти. Коль подцепит, охнуть не успеешь, прошьет как иголкой. А коленки у задних ног не как у всех зверей — наперед сгибчивы. Был он промеж зверья, аки рыжий среди русских. Да еще вместо носа хобот. Вот и стал я его кликать Рыжим, хотя Ага-Садык звал нашего слона Тахиром.

— Соскреби старый песок, — указал мне дядя Пафнутий, — и насыпь нового с напилками.

— Так он и раздавить меня может, — всперчил я. — Как отогнать-то?

— А по заднице граблями. — Дядя Пафнутий ухватил грабли и саданул слона ниже хвоста. Слон понял и бекренем отошел на сажень.

— Ты с ним не сторожничай. Он мирный. Ему плюнь, он утрется и “благодарствую” скажет.

Про меня так давеча Тимофей молвил. Выходило, что мы с Рыжим схожими оказались.

Рыжий в те поры всю бочку из хобота на себя вылил. Я опять по воду собрался.

— Третью не вози, — сказал дядя Пафнутий. — Ага-Садык поведет его после намаза на Фонтанку. Теперь бы чаю внакладку похлебать синим хоботом.

— Я самокип принесу, мигом готов будет.

— Какой самокип?

— От деда достался.

— Неси.

Летним садом я скосок сделал, чтоб околицей не тащиться по пеклу. Караульщик у ворот поначалу пускать меня не желал.

— Так я ж из дворцовых, — сказал ему, — у дяди Пафнутия в храмине слоновой.

— Дядька квасу получил?

— Привезли намедни.

— Скажи, племяш его сегодня на караул заступил .

Потопал я промеж березок и лип. Дух от них, как в нашем лесу. Забрел в смородинник дикий, листочков молодых нарвал, чтоб чай духовитый настоять. Слышу — музыка играет, тихонько так, ровно по ступенькам вода капает. Пробрался сквозь орешник, узрел пещеру с нишей внутри. Пещера из камня дикого сложена, падает со стены вода в чашу, вроде водобоя сделанную, по стальным ребринам. Оттуда-то и звуки. Встал, слушаю, в музыку вникаю. Знал я балалайку, гусли, рожки да свирели. А таких звуков никогда на земле не слышал. Видать, так только ангелы играть способны. Да только в пещере не было никого.

Постоял, постоял — опомнился. Дядя Пафнутий чаю хотел.

Я обернулся и в прогалке ветвей лужок приметил, на лужке коляска, обитая бархатом малиновым, махонькая и красивая, ровно берендейка расписная из-под Троице-Сергиевой лавры. А в коляску-берендейку впряжена кобылка ростом не выше теленка.

И лежит на лужке девка молодая в голубом сарафане и поживает.

Сторожко поближе подошел. Что ж за невидаль такая? Кудри коричные у девки на солнышке переливаются, щеки разгарчивые румянцем налиты, грудь белая вздымается, а в прогале у груди по краешку выреза крестик серебряный. Околь, на серебряном блюде, ананас, срезанный с вершка. Музыка из пещеры льется, ангелы на гусях стоячих перезвон вершат, меня своими струями пеленают и заморачивают. Стою я и с места не могу сойти. Наши-то девки волосы под платок прятали, коли на людях были. А здесь — нечесана, в простом сарафане, а глядится аки принцесса заморская. Откуда ж, думаю, взялась?

Наклонился я к девке, а у ней пушок на щеке, ровно на персике. Ресницы подрагивают воснях. Услышал шаги в просади — сорвал три цветочка воловьего ока и рядом с девкой уложил. И мигом в орешник. Не помнил, сколь времени утекло, покуда я девкой любовался. То ль красота ее, то ль музыка пещерная — видать, все вкупе, — только возвращался я с самокипом, а пред глазами цветочек лазоревый на червленом атласе и крестик на груди, что в лад дыханию подымался и опускался. Никогда ране на девок не заглядывался, а тут на тебе — в душу вошла и приворожила инда с первого разу. Вот тебе, думаю, дама и валет желают ананаса.

Морок тот не минул и тогда, когда я самокип разводить стал щепкою вперемежку с сосновыми шишками. Задул снизу огонь и трубу сверху приладил.

— На кой труба-то? — спросил дядя Пафнутий.

— Для тяги, как в печке.

Дым из трубы повалил столбом крученым. В получасье вода забулькала. Разлил я чай в кружки. Дядя Пафнутий пил и побрякивал:

— Скусней, чем с печи.

— Царь Алексей Михайлович так-то тоже деда похваливал... Племянник твой давеча мне встретился. На карауле.

— Пойдешь до дому, захватишь ему квасу.

— Знамо дело, — возрадовался я. Может, сызнава цветочек лазоревый увижу, думалось мне.

— Забыл сказать, — спохватился дядя Пафнутий, — намедни спрашивали тут тебя.

— Кто?

— Звонарь из Кронштадта.

— Какой звонарь? — удивился я.

— Не знаю уж, какой он там звонарь, но человек — душевный...

Ополдень Ага-Садык, тряся усами, аки муравей, повел купать Рыжего на Фонтанку. Дядя Пафнутий велел мне идти с ним, чтоб я привыкал к Рыжему, а он — ко мне. Чалмастый персиянин держал в деснице посох, чтоб иной раз слона ткнуть, однако тому посох был без надобности — Рыжий сам знал, где повернуть, а где напрямки.

Берег для купания был неудобен весьма — крутой и осыпчивый. Рыжий шел вдлинь берега, покуда не показалась отлогая коса на излучье. Тогда вода в Фонтанной речке была светлая и чистая. Это только при императоре Павле Петровиче, Царствие ему Небесное, ее запоганили, так что не только слону, а и честному люду лезть в нее стало не можно — смрад и грязь.

Рыжий в воде принялся поливать себя со всех боков. Я тоже в речку плюхнулся. Ага-Садык сидел на бережку, посошком слепней от себя отгонял. А я саженками плаваю вокруг Рыжего. Он возьми и посади меня хоботом к себе на загривок. Потер я ему бока, да руками разве отмоешь? Надумал вдругорядь швабру с собой прихватить, чтобы драить слона как положено. Заморская скотина тоже чистоту любит.

Откупались мы с Рыжим, вылез он из речки со мною на загорбке. Почуял я — гарью со стороны потянуло, где соча лесная, из нее мы коренник возили с тятей для растопки. И покуда брели к амбару, мгла белесая поднялась по кромке, где небо с землею обнялись. Рыжий тоже учуял, то ходу прибавит, то хобот норовит поднять, нюхает, откуда гарь наползает. К исходу дня все заволкло сизой мглой. Дядя Пафнутий сказал, что горит коренник. Лето жаркое, какого поднесь в Питере не бывало. Огонь в землю проник пламенем нутряным.

Когда вернулись, отнес я племяннику дяди Пафнутия, Митьке, бутылку с квасом. Митька приложился к горлышку и враз ее ополовинил. На зное весь взмок, а кислица пуще жажду толит, чем вода.

— Ф-фу, — отдулся Митька. — Летом преешь в чертовом сукне, а в зиму без шубы дрожишь.

— Почто без шубы-то?

— Командир говорит, не положено. А что семеро мужиков откараулили в стужу и померли в лихорадке — то у них положено. Семерых безлапотников в один кафтан загнали.

— Слышь, чего я хочу спросить у тебя. Тут в саду пещера, а в ней музыка с перевалами, славно так играет. А музыкантов нету...

— Так то водяной орган. Вода по трубам льется, и у каждой трубы свой голос...

Одна труба от самокипа у меня была. Достать труб поболее, так, может, и самому музыку устроить. Только мне у Митьки нужно было вывести иное.

— И кто ж ту музыку слушает?

— А фрейлины соберутся, кофий с вином попивают и музыку слушают. Что им еще-то делать?..

— Небось в каретах ездят?

— Иль в каретах, иль так... Как их кличут, что боком в седло садятся?

— Кто?

— Да бабы... Во! Амазонки!

— Привираешь, Митяй. Во что ж они одеты?

— Платья длинные такие, все из атласа.

— А почто в седло боком?

— Да седла у них на один бок. Бабы-то не в портках, а в юбках.

— Амазонке, брат, юбка ни к чему. Они всю жизнь телешом скакали.

— Ой, не могу! — Митька застонал. — Телешом? Расскажу в казарме — не поверят.

Видать, грамотность не на пользу мне пошла. Реку Митьке как человеку, а он меня не понимает. Может, и вправду у меня ума два гумна да баня без верху...

— Чудной ты. — Митька картузом обтер взопревший лоб и сусала. — Чего на воскресенье удумал к роздыху?

— К тятю с матушкой наведаюсь.

— Езжай в субботу. Я скажу дядьке, чтоб поране тебя отпустил. А мы на расшиве в Кронштадт сходим. У меня там матрос знакомый служит. В трактир пойдем, к девкам заглянем...

Трактир и девки меня не блазили, однако и отказывать Митьке я не стал.

Степка обикнулся с новым жильем, и я без опаски брал его в слоновый амбар; в обрат он уже сам летел. Когда он впервой Рыжего узрел, тут же взлетел ему на хобот. Рыжий его вохась концом хобота взял. Степка испугался, заверещал по-латински; слон Степку выпустил, тот уселся ему на хребтину и перышки на крыльях стал перебирать.

Степка шастал по шкуре слоновой, что-то выщипывал из нее, будто червяков да жучков из борозды. Рыжему оное было к удовольствию немалому, наберет воды в хобот и то место поливает, а заодно и Степку. Степка лопочет по-своему, трепыхается под струей, вцепится в другой бок и сызнава клювом примется работать. К исходу дня засыпал я в бадью пшена, сваренного на печи. Рыжий ощупал варево, и Степка тут как тут. Сел в бадью и тоже клевать принялся. Слон хобот убрал и, покуда Степка не насытился, все ждал. Добрая скотина была, хоть и веры басурманской. Однако я забыл, что дядя Пафнутий виноградного вина доливает в пшено. И вижу, Степка взлетел через силу на маковку Рыжему, завалился набекрень, клюв раскрыл и взял низами: “Коль славен наш Господь...” Ну чисто пьяный Тимофей без сапог, да в перьях!..

А мгла дымучая над Питером стала еще гуще. Солнце в мироколице застыло, ровно рыбий пузырь в бельмастом море. Пламень подземный без устали землю поедал. Сызнава, видать, недород будет, бестравное лето зимою скотину побьет. И ножевые артели пуще прежнего на дорогах армаить начнут. А уж про бродяг безымянных, родство скрывающих, и говорить нечего. В Белокаменной мужики станут с голодухи пухнуть, как и допрежь, и умирать на дощатых мостовых. Дядя Пафнутий наемни говорил, что правительство опять разрешило подавать нищим милостыню. Во все века православные цари оного не ведали — наложить запрет на нищенство. Тишайший Алексей Михайлович самолично ходил по тюрьмам с подаением. Видать, запретом тем умыслили силком заставить народ работать, ан не вышло — нищих-то и беглых стало еще боле. В те поры начали меня думы одолевать: отчего так на свете устроено — кому колодки да цепи, а кому хрусталь да атлас?

В пятницу мы с дядей Пафнутием получили бумагу от комиссара для седельной казны, чтоб на наших лошадей выдали новые сбруи, хомуты и поводья. Прежние поизносились весьма. Ходили мы от одного канцеляриста к другому, все подписи собрали, новые печати ставили, однако всякий раз опять чего-то не хватало.

— И так они бесперечь гоняют? — спросил я дядю Пафнутия.

— В летошнем году с неделю пороги обивал. Ахбид Липман печати и руки не приложит, сам Бирон гроша ломаного не увидит. Истый аред и алкач, чтоб ему вариться на том свете в родной смоле ...

Потолкались мы еще у всяких столов, и прыщавый канцелярист провякал нам, что седла можно получить хоть в сей час, а с хомутами да сбруями надобно сызнова идти в конюшенную контору, понеже не на той бумаге прошение написано. Ну и народ — барашка в бумажке и тут ждали!

— Да мне седла непотребны! — вскипел дядя Пафнутий, аки дедовский самокип.

В хозяйстве все могло сгодиться, чего он перечил канцеляристу? Ткнул я его под лопатку. Он обернулся, я ему моргнул.

— Ай взять? — шепнул он.

— Сбегаю к комиссару. А после в конюшенную контору.

Комиссар отписал мне новое прошение, и я понес его в конюшенное ведомство. В палате стены были обиты ткаными шерстяными обоями. В приемной стояли напольные часы в мой рост — видать, английской работы. Стулья и кресла бархатом обиты, и два зеркала, каждое в полторы сажени ввысь. Глянул на себя и узрел свою персону с маковки до пят. Ладный парень был. Устроил картуз набекрень и стукнул сапогами по паркету. Смотрю в зеркало, а за спиной Петька Куцый возник, как лярва непрошенная. В треуголке и зеленом кафтане с красными обшлагами. И в парике с буклями.

— Тебе чего здесь? — спросил он всерьез, ну чисто генерал.

— Подпись нужна. Канцеляристы умучали.

— Давай сюда. — Куцый взял у меня бумагу и сгинул за дубовой дверью главного шталмейстера.

Англицкие часы бомкнули, и Петька встал передо мной как лист перед травой. Отдал мне писульку и сказал:

— Чего еще затребуется, сразу ко мне иди. Чать, земляки.

— А ты теперь кто будешь?

— Смотритель на конюшне обер-камергера. — И в зрачках Петькиных неторопко ус тараканий шевельнулся.

У самого Бирона служил! Из грязи да в князи. То ж ни в сказке сказать, ни пером описать. На кого ж он доносил, коли Бирон конюшим его сделал в своей вотчине? Да и то сказать: в аду ину пору хоть кочергой заместо вил подсадят, и то легче, а на грешной земле и подавно свой заступник потребен. Без Петьки мы бы еще три дня по канцеляриям пробегали. На бесчестии и слухач благороден.

В седельной казне дядя Пафнутий повел меня в малую залу, велел ключнику отомкнуть замок на дверях.

— Глянь на Лизетку, — сказал дядя Пафнутий.

Встали мы на пороге. Я узрел высокую стройную кобылу при полном приборе. Грудь, холка, крестец, бабки — вся с досугом. А копыта, как у аргамака, стаканчиками. Круп, однако, тяжеленок был малость, а так — красавица. Стояла она будто живая и глазом стеклянным на нас взирала. Будто вот-вот запрядает ушами.

— На Лизетке царь Петр под Полтавой войска на шведов водил, — сказал дядя Пафнутий.
— Хороша?

— Куда уж лучше.

— У Бирона лучше, — ответил дядя Пафнутий, когда мы седла и хомуты со сбруями на телегу уложили. — Евойный Фаворит тысяч стоит немалых. Вороной испанский жеребец. Сам-то бывший конюший, карточный алырь, выполз в полюбовники императрицы. Видать, царь Петр в гробу перевертывается. Что ни делал, все хинью пошло. Тогда воровали, да страх знали. Боялись гнева царского.

В субботу дядя Пафнутий приказал вычистить пол в храмине от навозу, засыпать напилком и песку, дал мне новое седло и отпустил в Раменки. Напоследки попили мы чаю. Ага-Садык в ту пору на коврике молился у себя во флигеле.

— Ты, дядь Пафнутий, — упредил я, — с конюшим Бирона держи ухо востро. Он барина моего сгубил, на отца Василия донес...

— То мне ведомо допрежь тебя, — ощерил щербатый рот дядя Пафнутий.

— Откуда?

— Не твоего ума дело...

Заседлал я нашего жеребца и потрусил через Первый сад к минажерии, чтоб Лизуна сахарком побаловать. Пересек одну просадь, еду через орешник, выехал ко второй просади и вижу — бегут, задрав подолы, две девки. Одна в голубеньком сарафане — цветочек лазоревый. Кудри по плечам сыплются, крестик в прогалке груди прыгает. А вторая истинно принцесса: платье затянуто, парик чуть не на аршин вверх. А за ними медведь на четвереньках катится. Догадался я, в чем дело, спрыгнул с жеребца и впередимы Лизуну выскочил. Лизун увидел меня, вспрял на задние лапы и принялся принюхиваться. Учужал знакомый дух, захныкал и ко мне припустил. Я сахару достал и принялся кормить его. Матереть стал медвежонок, стоймя уже мне по плечи.

Оглянулся я, а цветочек лазоревый с принцессой, затянутой в поясе, аки оса, остановились и в мою сторону зыркают. Машу я им рукой: дескать, не трусьте, девки, идите сюда. Они что-то свое залопотали и начали ко мне подбираться. Цветочек лазоревый на меня показал и молвил:

— Вени, види, вици.

— Пришел, увидел и одержал викторию, — вторил я им по-русски. Небось цветочек лазоревый тоже у своей принцессы латыни обучилась.

— Ах, — плеснула руками цветочек лазоревый, — кто вы, наш спаситель?

— Какой я спаситель, — отвечаю, — мишка-то ручной. Видать, в ограде проем нашел.

Осиная принцесса сказала что-то цветочку лазоревому по-заморски, и они обе смехом залились.

— Можно его погладить? — спросила осиная принцесса.

— Отчего ж не можно, ваше высочество?

Они пуще прежнего засмеялись. Я и вовсе не знал, куда себя девать.

— Вы ошиблись, юноша, — молвила осиная принцесса. — Ее высочество перед вами, — и ручкой на цветочек лазоревый указала. — Принцесса Анна, а я ее верная подруга Юлия...

Мне бы не сходя с места скрозь землю провалиться. Господи, думаю, орясина, принял ее высочество за девку простую. Межеумок лапотный. Гляжу в принцессины очеса, а они у нее под цвет ее сарафана — голубые, ровно синь-море. И не верится, что предо мною царева наследница. Вот ее другиня — иное дело: платье, поди, на китовых усах, бочкастое...

— Как вас зовут? — спросила принцесса Анна. Я молчу. — Или вы путешествуете инкогнито?

Ин как никто, помыслил я. Опомнился, сорвал картуз:

— Зовусь Асафием, родом из Миловзорова, ваше высочество.

— А как вы тут оказались? — Ее высочество платочек на голову накинула и у шейки концы стянула. Локотки у нее были в ямочках, и такие ж ямочки на щеках разгарчивых.

В глазах у меня туман. Чудится, будто не со мною все происходит, будто воснях. И хочу удрать от них. Ни у кого не видал я таких синих глаз, ровно бирюза с поволокою.

— Домой собирался к матушке и тятю.

Тут она сняла с руки перстенок серебряный и мне его протянула:

— Возьмите, рыцарь, вы заслужили награду.

— Грациас эго, — бухнул я с перепугу. Хотел перстенок на указной палец надеть — не лезет, на средний — тоже, только на безымянный в аккурат пришелся.

— А откуда ваш Росинант? — и головкой в сторону жеребца кивает. А Лизун все лезет ко мне в карман, я ему последний кусок сахару скормил.

— Родич испанского Фаворита, — ответил я.

— О! — воскликнула другиня Юличка, — наш рыцарь знает, возможно, и о Дон-Кихоте?

— Как вы находите, — спросила принцесса Анна, — я похожа на Дульсинею из Тобоса?

— Ваше высочество, вы аки цветочек лазоревый, ей-богу!..

Принцесса улыбаться перестала, переглянулась с другиней и молвила:

— Странное совпадение. Помнишь цветки у моей головы, что я увидела, когда проснулась? Ну, там, на полянке?..

Другиня ответила по-заморски, а цветочек лазоревый протянула руку к моей варе. А я смотрю и думаю: эка невидаль — руку, я бы тебя в обе щеки расцеловал. Однако принцессам, вестимо, только ручки положено.

Взял я ее ладошку в свою пятерню, приложился к перстам ее, и дух мне в башку несказанный ударил. Небось шел такой от грецких богинь, что амброзией не только нутро, но и персты умащали.

— А можно и вторую? Дух, будто от яблочка аркадского!..

— Санкта симплицитас! — воскликнула принцесса и залилась пуше прежнего колокольчиком. Провела по варе моей перстами духовитыми. Видать, благушей меня считала, да с радости и впрямь заблажнел я вовсе.

...Гнал я коня по большаку с ходы на тропот, с рыси на стельку, однако в себя вошел с полдороги и пустил жеребца шагом. И все на перстенек поглядывал, на камушек бирюзовый дышал, рукавом протирал, а он еще ярче светиться начинал. Молодому море по колено, а земля с арбуз, потому пустяк всякий душу хмелит и пылинка любая становится дороже главного армянского брильянта в короне императора Павла Петровича, что в двести каратов, любой казны дороже, покуда кикимора прядет кудель безгласно и не коснулась еще души молодецкой корявой лапой своей.

В Раменках, слава Богу, никто не помер, жили по-старому: в лесу птицы, в терему девицы, а у бражки старые бабы. И матушка с тятьей сидели за медовухой: на столе воложные лепешки паром исходили, в миске тюря квасная, а в торце стола устроился мужик однорукий. Покрестился я на образа и к столу подошел. Однорукий загребь протягивает мне шершавую, будто шкура у Рыжего.

— Вот, Михаил, — молвил тятя, — сын мой Сафка. Под носом взошло, а в голове не посеяно. Зато грамоту знает. Никита письмо отписал, а прочесть некому.

— Никита отродясь грамоты не знал, — всперечил я.

— Ему писарь полковой писал, — ответил Михаил.

А в душе у меня цветочек лазоревый лепестками шевелит. Спихватился я, снял тишком перстенек и в портки сховал. Михаил стакан мне налил всклянь.

— Куда ты ему столь? — взметнулся тятя.

— Вино для душевного разговору, а не для пьянства, — ответил Михаил.

Прочел я “Отче наш” и погасил чарку до донышка. Первый раз вино пил, да не поперхнулся.

— В палатах царских научили так-то пить?

— У Бирона на конюшне. — Я лепешкой медовуху закусил.

А уже ног под собой не чувю, музыка с перевалами в слух мой вошла, как в пещеру, инда самому петь захотелось. Однако виду я не подал, все ж мужиком был.

— Что за Бирон? — спросил Михаил.

— Выползень царицын, — ответил я. — А она его матрасса.

— Кто-кто? — Тятя шею вытянул, аки гусь, вот-вот ущипнет.

— По-парижскому — полюбовница. — Я сел и стал тюрю уминать из миски, что мне матушка придвинула.

— Ага, — сказал тятя, — и ты тоже по-парижскому девок тискать во дворце научился?

А я чувю, язык мой поганый уже понесло невесть куда, а поделать с собою ничего не могу.

— Что по-парижскому, что по-питерскому: живот на живот — и все заживет...

И тут тятя мне такую вяху отпустил, что я вмиг окарачился.

— Ты что, басурман, при госте мать свою позоришь? — Тятя встал надо мной и кулаком замахнулся. Вот тебе, думаю, и вино для душевного разговору.

— Тятя, прости за-ради Бога...

— У матери прощения проси, растебай... — И тятя такой вензель словесный пустил по-мужицки, что я враз восстал и в ножки матушке — бряк!

— Сам, Николай, виноват, — отвечала матушка. — Девок по-парижскому... Тьфу. Как выпьешь, так первый и зачинаешь. Сафка и взабыль по уму ребенок, а ты ему про такое. Живете лет п у сту, а все будто к росту. Вставай, сынок. Небось первый раз выпил?

— Первый.

Поднялся я, а матушка в ухо мне шепнула:

— А колечко откель у тебя? — и хитро так на меня глянула.

— Чего шепчешься, Настюха? — спросил тятя.

— Мое дело...

— Сафка, читай Никиткину грамоту, — сказал тятя и на скамье устроился. Я сел от него подале, матушка из-за занавеси у печки вышла и письмо мне дала.

В заглавке Никита перебрал всех поименно в половину письма. Сообщал он, что полк их перевели из Крыма в Дербент, поближе к шаху персидскому, где за рубль не купишь и того, что у нас с избытком за пятак получишь. Что шах рубит своим командирам головы, аки кочаны, коль на него дурь смурная находит. А находит она на него по десяти раз на дню. Что в Крыму и под Очаковым полегло солдат тьма-тьмущая, а боле от воды тутошной и солнца. К исходу письма Никита добавил, чтобы передать от него поклон Дуньке, с коей он три дня миловался в овине. А в конце петушиными буквицами было написано: “Жду ответа, аки соловей лета”. И насылка, куда писать ему.

Матушка, покуда я письмо читал, углом платка глаза утирала, сухой ладонью по губам проводила и вздыхала.

— Пойдем на зады, — молвил тятя, когда я письмо прочел. — Покурим.

У повети, где куры в квелом лопухе копошились, уселись мы рядком. Михаил кисет достал и пипку, набил головку тютюном и попросил тятю:

— Дай-ка багача на люльку.

Тятя уже козью ножку свернул, чиркнул кресалом, и мужики задымили. А я все перстенок в портках щупал.

— Дядь Миша, — спросил я, — а где ты руку-то потерял?

— Пулей турецкой кость задело, — ответил он, пыхтя пипкой. — В Дербенте, куда меня повезли, начальство велело заместо лекарств пользоваться вино и уксус. Оно, может, и к лучшему, иная аптека улечит на полвека. Начался антонов огонь. Лекаря сказали — отрезать по плечо. Дали полштофа водки, чтоб не чуял я, как пилят мне кость. Провели пилою, а я ору: “Еще полштофа!” Дали и снова запилили. Пьян стал, ничего не помнил. Проспался, глянул на руку, а там культя в тряпках. Поплакал малость, а капитан утишил меня: “Скажи спасибо, жив остался...” И то правда: как солдату противу турка воевать, коли кишка кишке кукиш показывает. Одного новобранца татары пленили и возвернули нам: отрубили ему руки и ноги — ни кистей, ни стоп не осталось...

Овечерь я в баньке попарился, березовым голик у м исхлестал себя докрасна и всю воду на каменку для пару вылил. Хмель из меня и вышел. Одно только из головы не выходило: пред глазами все новобранец стоял без рук и ног. Уж лучше б убили нечистивцы. А ведь в своего бога веруют по татарскому пр у логу. Как же бог ихний такое позволяет? И подумалось: а ежели тот новобранец — наш скимен с сизым носом, коего мы заместо своего рекрута на войну отдали? На все Миловзорово грех тяжкий ляжет. И Никиту могли так изуродовать вычадки.

После баньки уложила меня матушка на печи, а когда пробудился, кукушка из часов откуковала шесть часов пополудни. Под навесом жеребец мой бесновался, привязанный к яслям. Видать, кобылий дух в ноздрю его ударил.

— Тять, а как, ежели мы кобылу нашу жеребой сделаем? — спросил я. — На царских конюшнях жеребчик от породистого коня сто рублей стоит.

— Согласья может не дать, — ответил тять.

— Так то ж не Дарья.

— Хоть и глуп ты, Сафка, а иной раз и дело скажешь.

— В тебя удался, — молвила матушка и горшками загремела.

Вывели мы жеребца из-под навеса, дрожал он весь, ноздрями вдыхивал, облым глазом пучился от неумности своей. Кобыла наша крупом вертела, покуда тять кнутом ее не огрел. С двух заходов у жеребца ничего не получилось, дядя Миша вторил ему: “Опоньки, милый, опоньки...”

После конской свадьбы дал я жеребцу испить и оседлал, как он малость поостыл. Матушка перекрестила меня, и потрюхал я в Питер. Перстенок с камушком бирюзовым я сызнава на палец воздел. Еду тишком, перстеньком люблюсь, один раз заяц-бесшумок прыснул из-под копыт в березняк. А новобранец без рук и ног, однако, покою мне не дает. Думки мои все там, где Никита воюет. Сколь еще мужиков турок побьет и покалечит?..

— Слушай сюда, — сказал дядя Пафнутий, когда я спешился и отвел жеребца на конюшню. — Едешь в Крондштадт с Митькой?

— Еду.

— Отвезешь звонарю по мешку муки и пшена сарацинского. Теперь ступай отоспись. Я на ночь останусь. Скоро и твой черед в ночь выходить...

Море я узрел впервой. Вода уходила в небо, горбатясь посередке, и другого берега не рассмотреть было. Волна, как в нашей Чертыхани, только поболее и поленивее. Дворцовая расшива шла ровно. Дул втыльный ветер, и часа через три Митька показал мне на остров, где была возведена Кронштадтская крепость. Остров был схож с каменкой в нашей баньке — серый и волглый. Только пах там камень рыбой и ветром морским.

Мы перенесли к причалу кладь, Митька сказал, что пойдет к церкви, чтоб звонарь телегу пригнал. А я уселся на мешок и стал ждать.

Вдлинь причала шли каменные палаты и лавки. В сажнях сорока по правому боку стоял царев кабак с двуглавым орлом над расстегнутыми дверьми. По сходням кронштадтские амбалы тащили мешки и катили бочки. Чайки кругами ширяли над берегом. Диву я давался, как устроена та птица: крылами не шелохнет, а летает и выспрь набирает без единого маха. Иные на волнах сидели, как утеныши.

В той стороне, где Питер лежал, мрела дымная мгла. А тут свежо было, светло и полоса от солнца сверкала, как рыба чешуя на волне. И солнце лучилось не сквозь бельмастую мглу, а сквозь голубень, ровно промытую в молоке.

Дыхнул я на камушек бирюзовый, рукавом его протер. Приворожил мне сердце цветочек лазоревый, будто выпил я влюбного зелья у шептухи. Чары колдовские душу захмелили крепче всякой медовухи. И хоть ведал я, что только в сказке Иванушка-дурачок женится на царевне, а в жизни-то все вершится иначе, да невмочь мне было от дум о цветочке лазоревом оттолкнуться. Душа человека все зарубки в себе носит, ровно блонь на дереве: зарубки зарастают, заливаемы смоляными каплями, аки слезами, да рубцы остаются.

Думы мои стук колес перервал. От кабака катила телега, на облук сидел мужик в красной косоворотке, босые ноги у ступицы болтались, на потыле черный картуз. Борода на ветру бекренилась. Пресвятая Богородица, так то ж отец Василий!.. А с иного бока Митька пристроился. Подкатили они ко мне, батюшка бросил вожжи на телегу, расцеловал меня трикратно и рек:

— Здорово, слоновый мастер! Ишь как на солнце почернел! А глаза-то хмелем подернуты. Иль полюбил кого?

— Да у него только грецкие амазонки на уме! — хмыкнул Митька.

— Что у него на уме, то мне ведомо, а что на душе, прознаю после. Так?

— Так, батюшка.

— Какой я, к шутам, батюшка? Расстрига, и боле все. Ну, давай мешки в телегу. Добрый мужик Пафнутий. Устроим пир на целый мир...

Митька сказал, что пойдет к своему матросу, батюшка велел им приходиться прямо в сторожку церковную к нему.

— Принцесса, чай, подарила? — спросил отец Василий, когда я уселся рядом с ним на облук, — заметил он мой перстенок. — О, брат, я давно краснеть отучен. Выходит, угадал?

— Угадал.

— Простые-то девки таких перстней парням не дарят. Парень девке — туда-сюда. Ну, молодо-зелено, погулять велено. Сам разберешь, что к чему. Тут советы давать — что капусту раздевать. Одно скажу, — отец Василий дернул вожжи, — н-но, шалава! Грех сладок, да корешок его горек. Чем дьявол от ангела отличен, ведаешь?.. Дьявол на зорьке веселит, на закате печаль несет. А ангел сперва печалует, а в конце радость несет. Ох, старый пень, разболтался... Оттого, видать, что поговорить не с кем. Есть тут одна молодуха, Александрой зовут, в Христа верует, а прихожанам, однако, гадает. Вот с ней только и беседую. А гадает не всем, а кто по душе ей придется...

Телега встала у кованых чугунных ворот на кирпичных верях. Сквозь загородь церковную, вдлинь коей кустились акации, виднелись кресты на погосте. Маковка храма Богородицы Всех Скорбящих Радости сверкала на солнышке. Верхняя перекладина креста была занижена долгими шипами, чтоб птицы не гадили на крест. На торце крыши главного крыльца сияло в треугольнике всевидящее Божье око. Я снял картуз и перекрестился.

Мешки и бочонок мы перенесли в кирпичную сторожку. Мешки сложили в сенях, батюшка отрезал фунта полтора масла и бочонок в погребе устроил.

— Ох и разговееюсь я нынче! — Он потер руки. — А то жалованья уже с полгода не платят, перебиваюсь с пуговики на петельку... Пойдем на колокольню, покуда обедня не подошла.

— А где ж главный колокол? — спросил я, узрев пустую балку, толстую, аки матица в избе.

— Вкортке новый колокол должны привезти, ровно в тыщу раз легче Царь-колокола. С такими же картинками, словами и травами. Двенадцать пудов тянет. Дар самодержицы нашему храму. Вот в него и буду звонить...

С колокольни открылся весь Кронштадт с избами и палатами, с садами и огородами. По правой стороне — пристань с кораблями, мачты на них были схожи с кладбищенскими крестами.

Поставил я две свечки за упокой деду Арефию и моему крестному, а перед иконой Всех Святых — Никите и лазоревому цветочку.

Лишь на клиросе хор запел, я справа пристроился у царских врат под амвоном. Молюсь и чую, мне потыл будто кто буравит и тепло под него ударило. Оглянулся — девка молодая в черном платке, в плюшевой робе и юбке сатиновой с цветочками. Крестилась и в меня глазом зыркала. Я вбок ушел, чтоб не мешала с Богом говорить. А она и тут ко мне пристроилась. Уж не ворожея ли, помыслил, о коей батюшка сказывал? Крещусь, а она зрачком вороным за рукой моей следит. Службу справлял молодой поп. Возглашал он: “Господу Богу помолимся”, — и прихожане всплескивали десницами, и руки их схожи были с колосьями, что дружно склонялись и восставали под ветром.

Отмолился я, вышел на крыльцо, а девка с вороным глазом тут как тут.

— Тебе что надобно? — спросил я ее.

— Да ничего, — и впримык меня зрачками ошпарила.

— Ты Александра?

— А ты Асафий...

У меня балахна так до шестой пуговицы и отвисла. И мурашки от потыла к позвонкам посыпались. Неужли, думаю, сквозь мою душу зрит? Девка меня зрачками так и пронзает. Я бочком от нее к сторожке. А она за мной щепотко стала вышагивать, так вместе со мною в сторожку и вошла.

Отец Василий уже стол накрыл, увидел Александру, спросил, утирая ширинкою ложки:

— Угадала, кто Сафке перстень подарил?

— Анна, — ответила ворожея.

Я на лавку так и плюхнулся.

— Что еще ему предречешь?

Ворожея ко мне двинулась, смотрит вназырку, будто и в меня, и впронизь, ровно видела кого-то за моей спиной. Со страху оглянулся — никого.

— Родится у тебя три сына, — заговорила ворожея, голос у нее был, аки покойник в гробу бубнил. — Первенца тебе увидеть суждено только один раз. И будешь ты жить с ним в разлуке вечной и смотреть на лик его, очерченный в круге. И жития твоего будет восемьдесят семь лет...

Ворожея глаза закрыла, а по челу пот капелью выступил. Приметил я, что она дрожмя дрожит.

— А как сынов нареку? — спросил я.

— Господь не велел оглашать. — Александра открыла отускнелые очи и перекрестилась. И тут внезапно всхлипом пошла и разом из сторожки прынула.

— Что так? — спросил я отца Василия.

— С мужем-калекой умучилась. Вдогад берешь, как утешить плачущего? Плакать заодно с ним. Знать, и тебе выпадет испытание. Кого Господь возлюбит, того на крепость испытывает. Радость всегда впромесь со страданием живет. Помни — скорбь сотворяет песнь Аллилуйя...

Поели мы, чего Бог и дядя Пафнутий послали. Поведал я батюшке про цветочек лазоревый. Вздохнул он и рек:

— Эк тебя угораздило, Сафка. И куда ты вкобенился? Принцесса твоя Анна Леопольдовна — внучка царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого, хоть не я назвал его великим.

— В сказке Перро кот в сапогах женил сына мельника на королевне.

— Тю, дурень, то же в сказке! Рекбу безоколично: не нюхай ты свиным рылом ананасы. По-мужицки, по-нашему говорю. Забудь про нее. Сгинешь как кур в ощипе, и никто из ихнего брата не помянет тебя, инда и не заметят, как ты пропал. Ты для них холоп, и боле все. Поморочит тебя, послушает, как ты латиной губу помазал, тем дело и завершится. Ну, может, разок-то позабавится с тобой. Беги подале...

Дверь в сенях заскрипела, в горницу Митька вошел, а за ним в холстинной голани и портках дружок его, видать. Матрос был невысок и поджар, аки борзая. Они с трикратным поклоном покрестились на образа, а батюшка показал им на скамью:

— Садитесь, ребята. Отпробуйте от нашего каравая.

Матрос сел на край скамейки, покашлял в кулак и глаза в столешницу угвоздил.

— Как зовут-то? — спросил отец Василий.

— Максимом Толстым, — ответил матрос.

— В трактир ходили? — спросил батюшка.

— Ходили, — нехотя буркнул Митька. — Солдаты помешали. Кабачник водку беспошлинного сиденья продавал. Обыск начали.

— Воры, всюду воры, — выцедил Максим. — А первые воры — немцы...

— Да что ты? — ощерился батюшка, бороду загребую в обхват взял. — Ты, Максим, ешь, хоть добро, может, тоже краденое.

И отец Василий мне подмигнул.

— Тоись как краденое? — Максим бровями вскинул, будто чайка крылами.

— А так. — Батюшка дал Максиму и Митяю по ложке. — Ешьте, ребятки. Вот, скажем, лепешки из пшеничной муки. Мужик вспахал, засеял и сжал. Молоть зерно — на распыл у мельника отдай четыре фунта на пуд. За помол прибавь еще. Староста при сдаче муки обвесит, как наш Петька Куцый. А тут и пошлина. В городе на всякую рогатку по грошу. Вздорожал хлеб, а у мужика его по прежней цене купуют. И идет мужик в кабак, где из его же хлеба водку продают по цене сам-десять. Напимшись, выходит мужик на дорогу армаить кого попадя. Где ж ты, матрос, вора найдешь, кого вором наречешь?

— При царе Петре грабить боялись. — Матрос стукнул кулаком по столу. — А простому мужику можно было выйти в полные генералы.

— Во-во! — ответил отец Василий. — А тебе жениться на царевой дочке, так, что ли?

— Царь Петр простого мужика уважал, и мысли его были о державе, а корень державы — мужик.

— То-то твой царь оные корни из земли повырывал.

— Ты ненароком не раскольник? — Максим набычился, однако отец Василий хлопнул его по плечу:

— Сиди-сиди, не раскольник я. Расстрига.

— Верно, и расстригли тебя за такие речи...

— Не та вера правее, коя мучает, а та, кою мучат. А ты со своими речами в капитаны выйдешь. — Батюшка посуровел. — Кругом воры немцы, от них мужики страдают, и голод воровать нудит их. Один ты честный, выходит?

— Я еще ни у кого не украл, — ответил матрос.

— А вот и врешь, — всперчил батюшка. — Украл, и украл не у меня, а у державы...

— Тоись я вор?! — Максим вскочил, аки скаженный.

— А ты не кипятись, сядь. Выслушай расстригу. Баба что горшок: что ни бросишь, все кипит, а ты мужик, да еще матрос... Вот ты в трактире водку пьешь. А у кабачного сидельца пятеро ребят малых. Платит пошину царскую, платит полиции, чтоб не трогали. И тайной сидкой водки промышляет. Понеже не хочет с семьею с голоду помирать. Сиречь нарушает монополию царскую, крадет у державы. Казна ведь что шатучая корова — не доит ее токмо ленивый. А ты оную водочку пьешь вкупе со мною, скажем, стало быть, краденую у державы. Так что ж ты пришел и говоришь, что все кругом воры, а один ты не вор? Такой же вор, как я, как Сафка, как Митька. И царь твой Петр первым вором был, поелику храмы Господни разорял, и попирал копытом, аки китоврас, Церковь Православную, и украл жизни у тысячи тысяч невинных душ...

Максим сизым цветом налился во всю варю, затрясся, пена на губах пузыриться стала. Шатнулся он назад, закатил глаза, упал и на полу забился.

— Господи Иисусе Христе! — вскрикнул отец Василий. — Как же его на службу приняли, коли верченый?

— На расшиве семи вод отслужил. — Митька к матросу кинулся с ложкой-межеумкой и стал втискивать черенок ему промеж зубов. — Начальство не списывает, говорит — лицедейство одно.

Батюшка сел на ноги Максиму, я держал его за руки, покуда он биться не перестал.

— И сколь раз на него падучая находит? — спросил я, когда мы уложили матроса на сундук. Батюшка в заглавок сунул подушку.

— Не ведаю, — ответил Митька.

— Ну и хорош же я, — рек отец Василий. — Нашел с кем спорить о державе...

Как воротился я в Питер, стал обучать дядю Пафнутия азбуке. Через четыре недели он уже читал по складам, однако в учении перерыв случился: дядя Пафнутий впал в огорчение великое, потому как Сенат постановил весь лес от Питера до Соснинской прибыли по проспективной дороге вырубить, дабы разбойникам и ворам неповадно в нем хорониться было.

— Дурак тараканов морит — всю избу запалит, — вздыхал дядя Пафнутий всякий раз, когда я хотел обучение продолжать, и в чарку нос клонил. — Не до азбуки, Асафий. Ежели таким манером беглых, нетчиков и воров ловить по Руси, все леса придется повырывать. А уж коли всех татей и разбойников в колодки да железа заковать, караулы обнять не смогут. Аршин на кафтан, два на заплаты. И вправду немцы хотят под корень нас вырубить...

— Под корень еще Петр вырубал, — всперечил я, памятуя слова отца Василия.

— Тьфу ты, пра-слово, всячинник! — И дядя Пафнутий сизнова чарку всклянть наливал.

Пришел я в свою каморку, клетка открыта — а Степки нет. Выглянул в окно, смотрю — серый котик в траве затаился, задними лапами перебирает, к прыжку готовится. В саженях трех от него кто-то в траве копошился, пищал. Нежданно вспорхнул оттуда Степка; кот, аки молния, метнулся и хватъ Степку в зубы. “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!” — завопил Степка. Серый разбойник выронил Степку, в сторону шарахнулся, а я уже тут как тут с палкой в руке. Кот припустил к загороду и поминай как звали. Подбежал я к Степке, а он в траве крылья распустил, свиристит и улетать не хочет. После взлетел и рядышком сизнова сел. Посмотрел я по сторонам и выглядел в траве птенца скворчиного — клюв разевал так, что хайло было видно инда чуть не до задницы. Здоровый уже птенец, оперенный.

— Где ж ты его нашел? — спросил я Степку.

Степка сел мне на плечо и просвиристел: “Хлебать синим хоботом!.. Хлебать синим хоботом!”

— Ладно, пошли домой!..

Принес я птенца к себе и стал совать ему в клюв сарацинское пшено. Прожорлив был, аки Рыжий. Степка все вокруг меня полетывал, успокоиться не мог. Устроил я птенца в клетку вместе со Степкой и спать лег.

Так с неделю кормил я птенца, с собой в храмину носил. Степка без отлуки при птенце вертелся, а когда я в Раменки собрался, дядя Пафнутий велел птенца у него во флигеле оставить, чтоб присматривать за хайлистым алкачом...

Обочь дороги белели пни, пни да пни. Порубленные дубы и ели, сосны, ольха и осины покоились справа и слева. Будто тут недавно Мамаево побоище вершилось. Птиц не слышать было — разлетелись с испугу. Глядел я на упавшие стволы, и перед глазами новобранец без рук и ног стоял, а за ним рядами другие новобранцы, тысячи солдат с обрубленными членами. И все безручные милостыню просили...

— Подай Христа ради, добрый человек, — услышал я за спиною.

Голос был не жалостный и плакучий, как у нищего, а с сухью, и слова с отрывом рубил. Так только ссыльные в московских краях просили. Обернулся — мужик бородатый сверкнул оком, однако тут же глаз пригасил. И держал в руке топор.

— Всегда так-то побираешься? — спросил я.

— Средко. — Мужик неторопко пошел встречь мне.

— Из ссыльных, поди?

— Из них.

— Так тикай быстрее. В рубленом лесу не схоронишься.

— Мне Саньку Кнута надоть.

Мужик прыгнул к жеребцу, однако я уже чувал, что не милостыня ему нужна, и дернул повод. Конь прянул рысью и перешел на тропот. Я враз нагнулся и бросил коня влево. Над потылом моим сбоку топор сверкнул и упал плашмя в колдобину. Я соскочил, поднял его. Топорище было облажено и блестело, будто салом смазанное. Лезвие не забаловано, видать, только что направленное. Разрубистый был топор.

Вытащил я из пазухи тряпицу, отсчитал медяками пять алтын, положил на большак и сказал:

— Вот тебе за топор, папертник! А Саньку Кнута сам найдешь. Бог в помочь...

Не уведи я коня влево, раскроил бы мне ссыльный башку. Да береженого Бог бережет. До восьмидесяти семи лет.

Две зимы стояли лютые холода, да еще с ветром. День и ночь бросали мы с дядей Пафнутием полена в печь, пламень сжирал их, аки кот рыбы косточки, и все голодным был. Рыжему довольствие увеличили, а Степке уже ничего не надобно стало — помер от старости. Закопал я его в саду под аркадским деревцом. Только птенец, коего он спас от кота-армая, сам уже по-латыни лопотал и Иисусову молитву читал. И я тоже назвал его Степкой.

Дядя Пафнутий бурчал бесперечь:

— Для сугрева водочки положено. Не так, как протодьякону, однако полштофа не повредило бы...

— Отпишем прошение, — сказал я, — чтоб Рыжему выдали водки, потому как по зиме одно вино кровь в скотине не разгоняет по мере его...

Отписал я бумагу, отнес комиссару, и через неделю Рыжий стал получать четверть ведра водки на день. Мы-то просили полведра — комиссар так научил, ибо просящему присно дают вполовину мене, так и вышло. Когда с фряжского погреба дали ведро на четыре дня, дядя Пафнутий черпнул из ведра кружкой, выпил, сплюнул и рек:

— Хлебать синим хоботом их сиволдай! Первач себе, поди, протодьякон забрал, а слону опивки оставили. Так же скотину окормить можно ненароком. Подохнет, а нам отвечай...

Я составил другую бумагу, в коей прояснял, что водка для слона потребна лучшего качества. И просьбу повершил жалобой, что ихний сиволдай был ко удовольствию слона неудобен, поелику напиток явился с пригарью и некрепок. Ведро мы вернули, и водку нам теперь вручили чуть ли не боярскую. Полведра дядя Пафнутий отлил комиссару, полштофа Ага-Садыку.

Летом долю для Рыжего канцелярское начальство умалило, и ведро давали на неделю. Разъяснили, что “натуре слоновой тепло сверх положенной меры потребно только зимою, как скотине, обыкшей жить в персиянском климате, а летними днями оный напиток

потребен ей в малой толике, понеже тепло нутряное и тепло кромешное о сию пору в равновесии немалом натурально пребывают...”

На Анну летнюю утренник выпал — выходило, что на зиму сизнова мороз полютеет. В тот день призвал комиссар дядю Пафнутия и меня к себе и стал глаголить сурово, аки по уставу воинскому:

— Датский посланник возжелал узреть минажереию и нашу слоновую храмину. Амбар вычистить, дабы не только кусочка дерьма не нашли, а пылинки малой не приметили. Слона вымыть в бассейне у Лиговского канала, место там песчаное и сухое, к тому же ельник кругом да и зевак помене...

— В канале вода для питья только хороша, а так известковая и твердость в себе имеет, — вперечил я. — А на Фонтанке лучше и здоровее для купания.

— Ладно, ведите на Фонтанку, — махнул рукой комиссар. — Грамотный больно стал. Лошадей вычистить, довольствие в самом свежем виде. В рот ни капли не брать. Пафнутий, сие тебе говорю. Овса в ясли до полтора гарнца, быть одетыми по форме. А уж ежели посланник изволит увидеть, каковым учениям слон обучен, Асафию быть к оному готовым надлежит и учинить многократно пробы со слоном, дабы знали, что и в России слоновые мастера не лыком шиты. Как ты по-латински ученых мастеров прозвал, Асафий?

— Инди-ви-дуумы.

— Язык своротишь! Пафнутий, получишь по списку довольствие на служителей храмины. — Комиссар отдал дяде Пафнутию бумагу, и тот зашелестел губами.

— Иль вправду все оное нам? — околёсил он глаза. — Каплуны, телятина, стерлядь, ананасы, цукерброты и шоколат с кофеем. — Дядя Пафнутий всей варей ощербатился.

— Вам, да не вам, — отрезал комиссар. — До прихода посланника телятины можете испробовать самую малость...

— А шоколат с кофеем?

— Не можно.

— Самокип разводить? — спросил я.

— Уберите от греха подале. Дыни тоже можете сожрать. Им нынче цена в базарный день полушка.

В тот же день и деньги в казне нашлись для нашего жалованьшишка, кое нам уже три месяца не выплачивали.

Выписали мы у кухенрейтера из фряжских погребов стрельненскую стерлядь и оттуда же форель. Заодно и тамошнего горошка прихватили, красной икорки с Ладожского ряду, рижских лимонов, ревельских устриц и раков, огурчиков соленых из-под Никольского

монастыря. А когда брали шоколат и кофий из кофейного дома, кладовщик показал, как кофий надобно готовить, и добавил, что для приятственного духа доливать потребно извинь, по-латински — аква вите, по-нонешнему — спиритус.

Ага-Садык как почуял кофейный дух, так ноздрями набряк: “О Аллах, о Аллах!..”

В парниках загрузил я телегу бухарскими дынями и узрел сорт “баранец”, прозванный так за то, что сей самарский сорт славен кожей, покрытой будто шерстью. Прихватил и баранец по дороге, потому как росла дыня не в парнике, а открыто, неприхотлива была, не то что бухарские неженки с сизым отливом.

Посланник датский с нашим толмачом приехал в карете, запряженной четвериком, со слугами на запятках да с выносными, одетыми с иголки, ровно куколки. За ним — еще трое придворных детин и ихние девицы.

Увидел посланник стол, устроенный под липами и накрытый скатертью-самобранкой.

— О, я прервал ваш завтрак! — залюбезничал он. Какой завтрак в два часа пополудни, уже обедать пора было, а мы из-за него ни крошки в рот не брали.

— Нет, господин посланник, — поклонился комиссар, — мы только что собирались перекусить. Не желаете ли присоединиться к нашей скромной трапезе?..

Комиссару дипломатом быть, а он в храмине служил.

Посланник ткнул пальцем в стерлядь, в рот которой дядя Пафнутий засунул петрушку.

— Какая большая рыба! — удивился он. — Она мне напомнила о случае, происшедшем совсем недавно. Вы слышали? Про то говорит вся Европа и писали газеты. Английский моряк был проглочен гигантской акулой. С корабля, откуда он упал в море, выстрелила пушка. Ядро ударило в акулу, чудовище разинуло пасть, и моряк выпал из нее жив и невредим. Согласитесь, случай уникальный. Был только один факт подобного рода — когда Иона попал в пасть киту... Пожалуй, теперь мы посмотрим на слона. Я никогда их не видел живыми.

— Асафий, — приказал комиссар, — выводите!

В храмине дал я Рыжему сахару и сказал:

— Побалуемся на воле .

Рыжий закивал башкой, мотнул хоботом и пошел за мной следом. И стали мы с ним казать, чему выучились. Рыжий вставал на задние тумбы, задира хобот выспрь, а на самый вершок хобота садился Степка и вместо “Коль славен...” верещал “Хлебать синим хоботом!”. Дядя Пафнутий только похмыкивал. После Рыжий вставал на задние колени и садился на табуретку. Посланник кричал от радости, семенил ножками, аки младенец, и пускал длань в аплодисмент. А в фините напялил я на себя лавровый венок, что из оранжереи принес, встал на загривок Рыжему, руку вперед вынес, аки цесарь римский, и проглаголил:

— Дивиде эт импера!

По-нашему, стало быть, кому кнут, кому пряник. Тут уж все заморские гости в ладоши ударили...

— А теперь, господа, — сказал комиссар, — прошу к столу.

Мы с дядей Пафнутием и Ага-Садыком за вторым столом устроились. Посланник на устриц лимон выжимал, глотал их и шампанью запивал. Слуги разливали чужестранцам вино в бокалы, а мы хлебали из графина квасок. Комиссар подошел к нашему столу и прошептал мне:

— Расскажи что-нибудь похлеще ихнего матроса. Из чудесного...

Ага-Садык в аккурат кофий сварил по-персиянскому манеру. Розлил я его в чашечки фарфоровые и плеснул в них извинь. Не пожалел — чего, думаю, жалеть, дух будет крепче. Посланник попробовал и возгласил:

— Какое чудо! Нигде не пил такого кофия. Даже в Турции...

Поднял я свой квасок и рек:

— Выпьем за того матроса, что спасся от акулы. Однако есть такие вещи, что и не снились вашей философии, друг Горацио...

— Как, вы читали Шекспира?! — вскадычил посланник. — И вы знаете латынь? Почему вы не в академии?

Комиссар упредил меня, чтоб я ненароком после квасу лишнего не сболтнул:

— Он сызмальства мечтал стать слоновым учителем...

— Так какие же вещи не снились нашей философии, слоновый учитель?

В летошнем году на исходе мая, на Троицу, я сызнова гостил у отца Василия. В обедню хотел пойти помолиться, ан Александра схватила меня за рукав, из храма потащила и тянет на колокольню. “Ты чего?” — спрашиваю. “Чует мое сердце недоброе”, — отвечает. Бояться я ее стал. Однако поднялись. Отец Василий встал под колоколом, что Анна Иоанновна в дар храму принесла. И уже он за веревку взялся, чтоб ударить в него, да Александра как батюшку шибанет в сторону, а в то место, где батюшка стоял, упал кусок острый, что от колокола отделился. “Царица Небесная, спаси и помилуй!” — прошептал отец Василий. “Царь-колокол на Москве треснул”, — молвила Александра. “Ты что, сдурела?” — пробасил батюшка. Ин взыбыль вышло так. Через две недели все в Питере прознали, что в пожар, начавшийся со свечки восковой, поставленной замоскворецкой женкой в чулане, от пролитой воды лопнул Царь-колокол...

Вот про тот случай “уникальный” я и поведал датскому посланнику. Слушал он меня, и рот его вело от уха до уха.

— Мистика! — возговорил он. — Чистая мистика. Не верю. Случайное совпадение...

Про Александру я сказывать не стал — и так батюшку расстригли, а коль прознали бы, что он с ворожеей якшается, упекли бы в Сибирь, а то и подале. А Александру бы сожгли.

Ну, думал я, господин посланник, в колокол не поверил, так уж в самарский баранец ты у меня поверишь как пить дать.

Стал посланник прощаться, руки нам пожимать. Я ему дыню протягиваю.

— Вот, — говорю, — наше российское чудо.

— Почему чудо? — спросил посланник.

— Смотрите, шерстинки на шкуре.

— Да-да, в самом деле.

— Посему и сорт назван — “баранец”.

— Ба-ра-нец? А, баран. Агнец.

— Во-во! — обрадовался я. Нынче сего агнца я тебе пожертвую. — Когда баранец поспеваает, шерсть состригают и шьют из нее тулупы...

Комиссар пучил на меня очеса свои дипломатные. Видать, тоже впервой слышал про дыню-баранец.

— Сие в самом деле чудо! — воскрямел произнес посланник. — И где же можно увидеть такие шубы из агнца?

— Да хоть в сей час! — молвил я. — Вон у дяди Пафнутия племяш в карауле служит. Так ему зимой, когда на часах стоит, положен тулуп из баранца...

— Непременно погляжу! — обещался посланник. — Удивительно, что наши ботаники не обратили внимания на столь чудесное растение.

Лишь посланник укатил с баранцом под мышкой, комиссар с кулаками на меня пошел:

— Филозбоф слоновый, хрен моржовый! Ты знаешь, что будет с тобою, да и со мною тож?!

— Что?

— Придет посланник в казармы, а там его на смех подымут, да еще расскажут, какие на них тулупы зимою. Дубина, мне из-за тебя место терять?

— Почто? — Никак в толк я не мог взять, отчего комиссар должен место терять. — Скачи, ваше благородие, в дворцовую контору. Так, мол, и так, потребны тулупы овчинные. А дядя Пафнутий предупредит Митьку. Тулупы беспрременно отпишут солдатам, чтоб с дипломатом конфузии не вышло.

— На кой ляд ты про баранец травил?

— Озлился зело, ваше благородие. Чужестранцы всю правду про нас отметають начисто, а все байки, кои мы сами про себя наговорим, принимают со рвением превеликим.

Как комиссар ускакал, дядя Пафнутий с Ага-Садыком стали стол убирать. Икру гости только ковырнули, и дядя Пафнутий в кружку ее уложил. Телятину тоже заховал в корчагу, ополовинил миску с огурчиками. Шоколату на полке тоже место нашлось. Весь кофий мы Ага-Садыку отдали.

— Разводи самокип, — сказал дядя Пафнутий, когда стол был убран. — Чую, не отделаться тебе просто так за байку свою.

— Семь бед — один ответ, — сказал я.

И точно — прискакал комиссар и доложил:

— Жди солдат, Асафий. Ее величество разгневалась, да делать нечего — указ написала, чтоб отдать тулупы в казармы числом полсотни. А тебе за каждый тулуп по плети. Итого пятьдесят. И еще указ подписала, чтоб тебя на полгода жалованья лишить...

— За тридцать рублей пятьдесят тулупов?! — воздвиглся я. — Продешевила ее величество...

— Цыц! — рявкнул комиссар. — Ты у себя так-то поговори, а здесь ты на службе.

Плеть не ангел — души не вынет. Вон Михаилу руку заживо отпилили, рассудил я. Возьму штоф бодрянки — все малость легче будет.

Склянку я в портки загодя устроил. А тут и два солдата с ружьями пожаловали по мою душу. Заложил я руки за спину, и пошли мы к Тайной канцелярии. Зачитали мне в заседании бумагу, где писано было, что по велению ее императорского величества дворцовый холоп Асафий Миловзоров лета тысяча семисот тридцать восьмого году от Рождества Христова, месяца августа пятого дня, пребывая в непочтении к посланнику иноземной державы, над упомянутым выше глумился безнаказанно. И поелику во главе политики державной разумеются мир и согласие с государствами европейскими, завещанные Петром Великим, а речи вышеозначенного холопа непристойно и богомерзко совершались, сиречь вредоносны российской державы благополучия для, а также немалую финансовую утечку произвели, повелеваю: холопа Асафия Миловзорова жалованья лишить, считая с одного дня, сроком шесть месяцев и дать ему пятьдесят ударов плетьюми...

В застенки меня не повели, а вывели во двор, где стояла деревянная кобыла. Два ражих бузунщика устроились околь нее с ременными плетьюми, в закатанных портках и внаготку по пояс.

— Сымай рубаху, — сказал один.

— Позволь винца испить, — попросил я.

— Сколь есть-то?

— Почну малость и вам отдам. — Я вытащил скляницу.

— Валяй быстрее, покуда подьячий не пришел...

Опрокинул я скляницу и враз ополовинил. Первый бузунщик заховал ее в свои портки. Уложили меня на кобылу, привязали исподни руки и ноги к бревну.

— Не боись, будем бить без отяжки. Громче кричи...

А у меня в нутре уже хмель заиграл, голову закружило. Тут подьячий пришел следить, чтоб ударов было равное число. Ожгло меня с первой плети, ровно кипятком. Стал считать, досчитал до двадцати, чую, мочи боле нет. Все равно, думаю, орать не буду. Спину огнем охватило, боли уже не чувствую. В глазах тьма кромешная. Ровно сквозь сон услышал: “Крепок, однако...”

Отвязали меня, хочу встать — и не могу. Бузунщики подняли, повели к воротам, там я дядю Пафнутия узрел — он уже на телеге прибыл. Уложил меня кое-как на сено и повез.

— Оно, конечно, хорошо, — рассуждал дорогой дядя Пафнутий. — Митька с друзьями в стужу мерзнуть не будет. А на что жить станешь полгода?

— Бог даст день, Бог даст пищу, — через силу ответил я. — Отец Василий тоже эдак перебывался.

— Покуда тебя взяли под кошки, Рыжий никого к себе не подпускал. Ревел, трубил, думали, ворота вышибет. Скотина — не человек, у ей завсегда сочувствие к другому имеется...

На колдобине меня тряхнуло, и я застонал.

— Потерпи чуток, — молвил дядя Пафнутий, довез до моей каморки, поволок до постели, уложил, сняв допрежь рубаху с меня.

— Вишь как расписали. Ничего, молодой, быстро оклемаешься...

Через четыре дня стал я ходить по саду. Спросил позволения у смотрителя нарвать яблочек аркадских, где Степка-старший был похоронен. Нарвал и прохрустел их вмиг.

Из семи рублей с полтиной моего жалованья за три месяца, что я получил перед встречей с датским посланником, дал я дяде Пафнутию полтора рубля, чтоб купил мне меду, сахару, поросенка, двух кур, яблок, груш, луку, репы и капусты. На две недели всей той выти мне должно было хватить, коли есть досыта. А впроголодь — то и на четыре недели. Стало быть, семи с полтиной мне хватало на пять месяцев. Лето было легкое, травы, овсы и рожь уродились немалые, матушка и тятя и без моих грошей полгода могли протянуть. Ну а к февралю я им сызнава подкину, когда у них все запасы кончатся. В хозяйстве нынче у нас двугодовалый жеребец прибавился. Овса и сена вдвойне потребно. Выходит, императрица жеребца нам задарма отдала. Серчать не приходилось.

Навестили меня и Тимоха с Алешкой. Алешка пришел в рубашке с расписными узорами на груди, в шароварах и сапогах. А Тимоха — в немецком кафтане и туфлях. Лешка держал плетеную корзину, кою поставил предо мной. Тимоха выложил из нее шанежки, огурцы хрустящие и духовитые.

— Це с-под Нежина сестра приехала и привезла, — сказал Лешка. — Треба горилки испити. — И поставил на стол полуштоф.

— Це гарно, — согласился я.

Тут влетел в каморку Митька и выдохнул:

— Сафка, к тебе цесаревна скачет!..

— Аки амазонка? — спросил я.

— Только не телешом...

— Куда горилку девать? — спросил Тимоха. — Упрятать?

— Та ни, — отсоветовал Лешка. — Попотчует, побалакаем. Чай, красива?

— Перестарок, — ответил Тимоха. — В девках засиделась, поди, скоро четвертый десяток разменяет. Протодьякон клялся, что царь Петр сватал ее инда французскому королю...

Дверь в мою каморку откинулась, и вплыла цесаревна. Глаза голубые, однако не так чисты, как у цветочка лазоревого, высока, стройна, затянута. Парик мудреный, в руках хлыстик с петелькой на конце, платье парчовое с узорами, шитыми золотом. А на другой руке под локотком большой бархатный кошель. Без свиты пришла. Подошла к комоду и руку на него устроила.

— Я не разрушу ваш триумвират? — улыбнулась цесаревна. Зубы ровно жемчуга. К мужику без стука вошла. Видать, норовиста была. Повадка чисто царская.

Смотрю, Митьки след простыл, успел в окно сигануть, вот отчего мы триумвирами стали.

— Коль не Клеопатра — не разрушишь, — ответил я.

— Кто из вас Антоний? — смеясь спросила она сызнова.

На Лешку будто столбняк напал. Брови широкие на лоб взлетели, вот-вот к затылку побегут. Ну, думаю, уж коли помрешь, так хоть брови останутся, да такие, каких ни у кого отродясь я не видывал. И цесаревна тоже вперила в Лешку — то ли брови узрела, то ли еще что.

— Как тебя зовут, камочка? — прикинулся я, что не ведаю, кто предо мной.

— Елизавета Петровна. Судя по твоему языку, ты и есть Асафий?

— Чем заслужили такую честь? — Я поклонился цесаревне в пояс.

— Как твоя спина? — спросила цесаревна.

— Здорова, слава Богу, ваше высочество.

— Могу прислать своего лекаря.

— Благодарствую, ваше высочество, боле не надобно.

Цесаревна села на табуретку. Оглядела мою каморку, платье расправила и спросила:

— Как зовут твоих друзей?

— Певчие Тимофей и Алексей.

— А не отпробуете ли, ваше высочество, нежинских огиркив, пирогов домашних и горилки з перцим? — Лешка выпал из столбняка.

— Так мне больше нравится. — Цесаревна сызнава жемчуга показала, устами алыми оправленные.

Лешка налил ей чарку, и она сказала:

— Выпьем за русского солдата, за надёжу державы нашей, коему во все времена было тяжеле всех, о них наша забота и твоя, Асафий, тоже. Тулупы — доброе дело для них. — Она миглом погасила чарку, умостила на жемчуга огурчик и — хруст-хруст — сгрызла его, аки кошка мышку. После встала и молвила: — Тимофей, за фасадом моя лошадь, приведи ее в Летний сад. А ты, Алексей, помоги мне...

Алешка прыгнул в окно, а цесаревна указала мне на сундук и приложила палец к губам. После поднялась на подоконник и упала в руки Алешке, сверкая жемчугом зубастым.

На сундуке узрел я бархатный кошель. Тесьму развязал и высыпал на руку золотые рубли. Пересчитал — ровно пятьдесят. За что ж цесаревна мне такое отвалила? Не по Сеньке шапка. За каждую плеть — по золотому рублю. Своей спиной заработал. Не проста была цесаревна, хоть с виду открыта душой. И в окно, видать, тоже неспроста выпрыгнула к Алешке. Чай, не девчонка.

Услышал я, как в сенях чьи-то каблуки застучали, и схоронил кошель в заглавке постели. Дверь отвалилась, и на порог ступил сам Петька Куцый. Ну, мать честна, думаю, слухач родной проведать пришел.

— Здорово! — сказал Куцый. — Здесь живешь?

— Тут.

— Гостей, гляжу, принимал?

— Их. Выпьешь горилки?

— Выпью.

Петька закусил огурцом и спросил :

— Кто приходил-то? — Усишки из зрачков у него сызнава наострились.

— Пафнутий с Тимохой и Лешка.

Петька козлиными катышами по чаркам прошелся, будто не носом, а зрачками вынюхивал, кто у меня гостил. Насчитали усы четыре чарки и успокоились.

— С девками, чать, приходили?

— Одни.

— И никто боле не заглядывал?

— Никто.

— А баба какая-нибудь?

— С бабой я в ином месте милуюсь.

— Будь она неладна. Опять Миних с Остерманом орать начнут...

— Почто?

— Почто-почто? — задосадовал Куцый, налил еще горилки, выпил и пошел к двери.

На что Куцый осерчал, сразу я не уразумел, однако догад родился. Так-так-так, думаю. Стало быть, Куцый не проведать меня пришел, а вызнать, была ли у меня цесаревна. Выходило, Петька чуял, что та поехала к моему дому. Так-так-так. А она — шась в окно. Чтoб никто не узрел, как вышла от меня. Посему Тимошке и велела коня в Летний сад привести. Ага, стало быть, за цесаревной следили. А кто следил? Миних и Остерман. А кто у них на ухе лежал? Петька Куцый. И следил он не первый день. И след цесаревны терял, видать, тоже не впервой, коли Миних с Остерманом допрежь на него кричали.

Мой покойный крестный учил меня строить силлогизмы. Чертил мне логический квадрат, однако в квадрате я ничего не разумел, зато в усатых зрачках Куцего разбирался. И вот, рассуждая, неспешным пирком да за свадебку подобрался я к самому что ни есть корню. Но чую, зуб его не ухватит. Иль кощунством мне мои мысли виделись. Верно, бес меня все-таки водил. Он, аки Пифагор или Прометей, всячинником был в арифметике и силлогизмах .

От двух царей русских — Ивана и Петра — отпрыски расплодились. И хочет ветвь Иванова заглушить ветвь Петрову, а Петрова — Иванову. Анна Иоанновна нынче на троне, а Елизавета Петровна — под тронoм. Цесаревна, знамо дело, считала себя обиженной, живущей в унижении вечном. А обида, что тайно в душе цветет, коли ее лелеять, пуще прежнего вырастает.

И тут-то, продолжал я рассуждение свое, цесаревна недаром пила за русского солдата, коему тяжеле всех в державе приходилось. Коли руки тянутся к короне, всяк признается в

любви к лапотникам: кликни мужика, и сменит он орало на меч, ежели пообещать ему реки молочные и берега кисельные.

Анна Иоанновна понимала, откуда жареным пахнет. Полки слухачей-бессрочников росли и пухли.

На Покрова подались мы с Тимошкой и Алешкой в Раменки на свадьбу Дарьи и однорукого Михаила. Избной помочью мужики собрали им по бревну, заложили деньги в угол новой избы, шерсть да ладан — для богатства, тепла и святости. Брюхатая, на четвертом месяце Дарья с Михаилом в новую избу переехали. Вез я им пятнадцать золотых рублей. Тимоха припас для Дарьи новый парчовый сарафан и очелье, низанное жемчугами. Алешка — люльку с бельем для младенца. Купил я для Михаила плетку, чтоб жена помнила, кто в доме хозяин.

На телегу погрузили и самокип. Отец Василий, однако не приехал. Муж ворожеи Александры помучился два года, а тому девять дней сухая беда приключилась — повесился он. Опасался батюшка оставлять Александру одну.

Приехали мы, когда молодых уже хмелем осыпали на пороге новой избы. Дарья была сиротой, посемя хлеб-соль Михаилу подносила моя матушка.

— А снопы в постель уложили? — спросил я.

— Как водится, — ответил тятя. — Ровно семь.

Вручили мы поминки молодым. Дарья плакала и фатой утиралась. Да и Михаил чуть не взбавился, глаза мокрые, не знает, куда плетку девать.

— В спальне повесь, — наказала матушка.

Дух в избе стоял смоляной и свежий. Бревна-то не усохли. В красном углу стол, накрытый убрусом, а на нем снеди полно. Не так богато, как для датского посланника. Однако щуки, окуни и один сом в аршин. А еще пироги с капустой, лепешки, лук, а на печи булькала в чугуне говядина.

Сели мы за стол. Поначалу только ложки стучали, а уж после трех чарок голоса развязались в одном углу, в другом, заговорили, загудели гости.

Михаил хоть без руки, однако работающий. А коль Дарья дурить начнет, Михаил — не Ванька Косой, разом на место поставит плеточкой новгородской. Да некогда ей будет дурью мучиться — дите под сердцем. А там, глядишь, еще родит.

Тут враз пошла разноголосица, петь принялись враздробь, кто плясать, кто в сенях целоваться. Вышли мы с Тимохой и Алешкой во двор. Пошли на зады самокип разводить, склянку прихватили. С пашни холодком потягивало, звезды вприпуск сияли, будто свечи. Тимоха воротился в избу и кафтаны прихватил. Развел я самокип, а Лешка и говорит:

— Цесаревна просила меня, чтоб я к ней в хор пирийшов. Це гарна дивчина. Пригласила в Смоляной дворец к себе, что у казарм. Французский посланник ей шампань презентовал. Пили из веницийских бокалов, ели тертый рог в шалейне.

— Какой такой шалейн?

— По-нашему — холодец...

Самокип запыхтел, понес я его в избу, матушка разлила гостям чай. Я сызнава вернулся с самокипом на зады, хотел по воду идти, тут Алешка возьми и скажи:

— Спиваем мы, а та краля сила у перший ряд и регочет, горох ист, бо без него не может, сидит не то в рубахе ночной, не то в салопе, нечесана, девка девкой. Будто только что из постели Линара вылезла...

— Какого Линара? — я враз настороже встрял.

— Да польского посланника, полюбовника ее.

— Кого — ее?

— Да принцессы Анны...

Пресвятая Богородица, мыслю, спаси и помилуй. Отведи от греха, не то ведь прибью Алешку под пьяную руку за такие слова. И прознают тогда все про мою тайну.

— От чьей кумы узнал про то? — Руки у меня сами в кулаки свелись.

— Все так говорят, — ответил Алешка.

— А ты, аки баба базарная, сплетни вторишь, — сказал я. — Я ж не треплю, что цесаревна с кем попада милуется...

— Ты шо, ошалел? — Алешка вскочил с дубового катыша, размахнулся, однако я к самокипу приник, и кулак Алешкин мимо прогудел. Отскочил я, Алешка на меня попер, и, покуда он меня своей кувалдой не прибил, я башку его достал самокипом, как дед Арэфий — дьяка на Москва-реке. На самокипе вмятина, Алешка стоит, и ему хоть бы что, только маковку потирает.

— Не срами Петрову дочку! — заорал он.

— А ты Иванову внучку! — ответил я.

Пошел сызнава Алешка махать кулаками, как кузнецы в три молота. Я бегал вкрус загороди и все сокрушался, что самокип дедов помял. Тут гости из избы повыскакивали, схватили Алешку и умиривать нас стали.

Алешка был отходчив и зла на меня не держал. Пировали мы до первых петухов и с песнями по избам пошли.

А поутру в башке у меня будто черти камни катали. Принял я чарку, поднесенную Алешкой, ровно помер и сызнова родился. Глянул — а у Лешки шишка сизая промеж кудрей коричневых, аки дыня бухарская, лучится.

— Ой, мужики, — крикнул Алешка. — Сон мне приснился, будто Сафка бросает цесаревну в колодец, как Стенька — княжну в Волгу, а я сигаю за ней вниз башкой, лечу, а дна нет и нет.

Почесал он кудри свои и заохал.

— Ты чего? — спросил я.

— Кто ж мне такой гарбуз на темечко уложил?

— А ты что, не упомнишь? — Я моргнул Тимофею.

— Ничбого.

— Ты и взабыль в колодец упал, — сказал я.

— То-то у мене уси кости болят. А шо ж я сухой тогда?

— А ты телешом разбежку сделал — и кувырк в колодец, — добавил я пару. — Еле вытащили.

— Прямо в чем матери родила?

— А то! И при бабах. Одна девка тебя узрела, глянулся ты ей, и заголосила: “Взористый какой, аки Геркулес!”

— Ой, стыдоба! — Алешка застонал во все хайло. — Со мной такого ж в жизни не було. Як же я на люди покажусь?

Мы с Тимофеем малость выждали, покуда Алешка в покаянии похмельном пребывал, однако жалко нам его стало. И поведал я ему, как задел его башку самокипом. Показал самокип с вмятиной, с чего Алешка возликовал:

— Спасибо, Сафка, утешил!..

Я хоть и молодой был, да понимал, что не можно поминать трезвому, что он пьяным болтал и делал. Матушка никогда тятя за то не выговаривала.

Тимофею и Алешке надобно было поспеть во дворец — играцами они в опере были. Я с ними тоже наострился: авось, думаю, цветочек лазоревый увижу. Расцеловались с молодыми. Матушка для дяди Пафнутия пирогов и рыбы дала. Тятя с самокипом допрежь еще провозился, вмятину выравнивал, однако след малый все ж остался.

— Сафка, а ты еще в комедиантской зале не бывал? — спросил Тимофей.

— Да меня ж караульные в залу не пустят, — разъяснил я Тимохе. — Без парика, без башмаков и чулков немецких. Вытолкнут взашей и боле все.

— Пошли посажу тебя наверху, на хорах...

В комедиантской зале весь потолок был расписан красками — бабоньки в исподнем, у всех колени видны, на ногах подошвы без союзки, пальцы наружу и ремни до голени тонкие, аки онучи. Видно, еллинские кумиры. Расписаны были прямо посередке, над паникадиллом. А справа на конях амазонки скакали с луками и стрелы метали. В распашонках прозрачных по ягодицы, простоволосы, беспоясны, аки Баба Яга. Ну, думаю, посмеюсь я как-нибудь над Митькой, проведу его в залу и покажу, кто из нас балясник, а кто невеглас.

Тут в зале говор поднялся, стали входить дворцовые господа. От брильянтов да голых плеч у меня в глазах зарябило. Мужики в звездах и лентах, со шпагами на боку. У баб в руках махальца с амурезными картинками. Платья бокастые, ровно надутые исподни. Сколь же китов надобно изловить, чтоб повыдергать им усы и на платья отдать? Страшно помыслить даже.

Стали рассаживаться помаленьку, лакеи на блюдечках мороженое разносить принялись, кофий и шоколат. Промеж помостью и залой в темный прогалок мужики в черных камзолах и желтых кафтанах по лесенке стали спускаться. В руках они держали кто скрипицы, кто трубы, загнутые, что кренделя, кто бандуры, а кто медные круги, схожие с тарелками. Расселись они в прогалке, пред каждым, как светец, подставка, бумаги разложены на ней, аки на аналое. Полистали они те бумаги и принялись враздробь кто дуть, кто пиликать, кто тренькать. Ну, думаю, и музыка! Ванька Косой и тот на балалайке складней играл.

После все разом смолкли и сидят, будто ждут чего-то. Вижу, слева у помости ниша с выступающими по подзору балясинами. Все в зале головы туда повернули и скопом встали. В нише показалась самодержица Анна Иоанновна, и вся зала ей поклон отдала. Села она, и все тоже сели. А я как сидел, так и не встал, чтоб не видели меня снизу. Голову пригнул и помалкиваю.

На помость пред занавесью мужик вышел, поглядел в нишу и объявил, мол, комедианты счастливы, что имеют нонеча честь давать премьеру в присутствии ее императорского величества. Мужик захлопал, и все за ним тоже забили, и аплодисмент катился, аки камни по кровле. Самодержица голову склонила и два перста правой руки на левую ладошку устроила.

После вышел на помость второй мужик, поклонился в нишу, только что лбом о помость не стукнул, и закадычил про то, что ему тоже выпала величайшая честь представлять свой несовершенный перевод немецкой трагедии “Неверная жена, или Торжество добродетели” на суд ее императорского величества. Ее величество тряхнула париком и махнула платочком. А я подумал, уж коли перевод несовершенен, куда ж ты суешься, балахвост? Доделай, а после показывай...

Музыка как грянет! Больно ладно они в оный раз начали. С первого разу, видать, не получилось, потому как допрежь царица еще не пришла. А как пришла, так испугались, что за кувырки их могут жалованья лишить. Трубы фурычили, скрипицы их перебивали, а там и бандуристы по струнам прошлись. Жалостливая такая музыка, особо когда одна скрипичка плакала, ровно дитё малое. А седой старикашка с медными кимвалами в носу ковырял, думал, что в зале его не видят, однако я сверху все примечал. Сидит кимвальщик, баклуши бьет и ни в какую не желает бить в медные тарелки. Глянул я на нишу — самодержица серьезно так слушает. Тут все инструменты смолкли, одна скрипица голос подала, долго-долго тянула. Старикашка спохватился да как вдарит одной тарелкой об другую — б-бах! Я инда глаза закрыл.

Когда занавесь подняли, на помости чехарда началась. Мужиков и баб нагнали на помость человек сто. Мужики в кольчугах и шеломах, в руках протазаны, а бабы в платьях невиданных. И все хором поют. Вроде про гроб Господень, про какую-то битву. Бабы руки к мужикам тянули, видать, не хотели отпускать их, рекрутов бессрочных. Верно, бурлаков с сизыми носами не нашлось, а может, свой Куцый донес. И всю деревню послали под барабаны.

И вот выходят к самому разлогу, где музыканты играли, два рекрута и стали дуплетом петь. Батюшки-светы, да то ж были Тимофей и Алешка! Я инда подпрыгнул. И так у них ладно получалось, и слова все в лад. Пели они, что за Отечество и Бога складут свои головы, однако крест Господень у неверных заберут. Выбегли их жены, на груди их белые упали, зарыдали, как наши русские бабы, когда своих мужиков провожают в рекруты. Видать, сочинитель немецкий тоже сочувствие имел к чужой беде. Однако услышал я, что бабоньки пели: мол, нет большего счастья, как видеть мужей своих под знаменем с крестом. Куда ж, думаю, те ванькби глядели, когда под венец шли? Да за такие речи Алешка с Тимошкой должны своих баб кулаком по сусалам. Рады-радешеньки, что мужья отбывают и неведомо, на сколь годов. Иль сочинитель наврал, иль у немцев все бабы одна к одной, иль те бабы в изгул надумали пойти.

Угадал я. Занавесь опустилась. Музыканты плясовую заиграли, кимвальщик тоже с тарелками потрудился. Выскочили пред занавесью девки и отроки, ногами задрыгали, вроде польки иль камаринского отплясывали. Поплясали и убегли, а занавесь сызнава сиганула под потолок.

Вижу — в доме, где жила жена Алешки, стал появляться какой-то парень. Говорил он с Алешкиной женой всклад без музыки, а после они дуплетом петь начинали и плясали. Радовались, бестии, что мужа дома нет. Хахаль у соломенной вдовицы ручки целовал, всякие слова говорил ласковые. Баба в ответ смеялась. Тут он ее за грудки и в губы целовать принялся. Я плюнул со злости в залу и на пол спрятался — кому-то на маковку попал. А когда сызнава на скамье устроился, парень бабу уже на руках в нишу под занавески нес прямо на постель. У меня глаза к потылу полезли: неужто все в натуральном виде покажут? Однако вздохнул, когда в дверь кто-то постучал. А то позору было бы!

Баба, вестимо, парня под кровать, дверь открыла — на пороге друг ее мужа, раненный ковыляет иль притворился, что ранен, уж больно быстро с войны вернулся. Баба захохла, за стол его усадила, а тот ни в какую, мне-де плохо, дай малость отлежаться. Уложила она его на постель, пошла, видать, воду согреть, чтобы рану промыть на руке, а то, как Михаилу, и отпилить могли, коль антонов огонь начнется. Лег друг ее мужа, сиречь Тимофей, с мечом на постель. Меч из раненой руки выпал. Тимофей дрыгнулся через силу, полез за мечом и узрел под кроватью того парня, что не успел свою мерзопакость сотворить. И откуда у Тимохи соображение взялось — смолчал он, встал, оперся на меч. Зашатался, болезный, от боли и страдания душевного за Алешку.

Тарелки звякнули, и Тимофей полчаса про коварство бабское пел. Гляжу, а у него и на груди кровь выступила. В грудь и руку ранили, а он хромой, аки жеребец расплекий. Спел Тимофей, в зале сморкаться принялись, бабы платочками глазыньки вытирают. А Тимофей побег из дому. Куда хромота девалась — тут про все забудешь, коль у жены друга застукаешь полюбовника: видать, Тимоха вспомнил и про свою жену и побег проверить, нет ли и у нее мил дружка...

Вошла Алешкина жена, позвала полюбовника из-под постели, сызнова грохнули тарелки и раздался стук в дверь. Баба перепрятала парня в сундук. Покуда она туда его запикивала, я думал, чего в дверь-то никто не входит — ведь не замкнута. Лешкина жена подбежала к двери и за голову схватилась — вошел Алешка жив и здоров, а сзади сызнова его друг Тимофей хромает. Алешка щит в сторону, жена хотела его обнять, а он ее оттолкнул. Наконец-то, думаю, делает то, что надобно! И полез Алешка прямо под кровать. Вот куда Тимоха бегал — не за своей женой подглядывать, а другу сказать об измене жены. Настоящий мужик был! Поделом тебе, халява! Глядь, ан под кроватью никого нет. Стал он искать — за дверью, в другой комнате, кажись, даже на чердак слазил, нигде хахалю не нашел. А жена его уже ковы ковала: мол, друг твой не друг тебе вовсе, оклеветал меня, потому как отказалась с ним лечь в одну постель. Ну прямо как та стерва, что Иосифа Прекрасного блазнила при живом муже. Гляжу, поддается Алешка на те речи. А в зале все молчат, будто ничего не случилось. Все ж видели, куда та разорва парня перепрятала, и молчали.

Тут уже Алешка берет за грудки не жену, а Тимоху и волочит его прямо к кромке разлога, где музыканты сидели. Дурак Алешка был, дураком и остался. Друг его кровью истекал, ему ж не про бабу думать, а про лазарет. А Лешка навету поверил...

Не выдержал я, вскочил и крикнул:

— В сундуке она его спрятала!

Алешка, аки аспид глухий, продолжал волочить Тимофея к разлогу.

— Дубина, не слышишь, что ли? В сундук она его заховала! — сызнова еще громчей заорал я.

Алешка руки разжал, тарелки пуще прежнего грохнули. Тимоха шатнулся, шаг назад сделал и прямо на старикашку-кимвальщика шмякнулся.

В зале не то смех, не то плач, все в меня перстами стали тыкать. А Алешка открыл сундук, выволок полюбовника, и, покуда тряс его за ворот, Тимоха из ямы выбрался и еще больше стал хромать. Да и варя у него кровью стала испачкана. Коли б не я, Алешка вобще убил бы его.

Приметил я, что из ниши ее величество на меня вназырку глядит, а впримык к ней цветочек лазоревый смеялся. Как я ее раньше не увидел?

Охолодел я и сполз на пол. Добрался до дверей, выскочил на лестницу, из подъезда — наружу. Тьма кромешная, хоть глаз выколи. Оно мне на руку: кинутся искать — не найдут. Я ведь Алешке правду сказал, а не байку про баранец...

Об утро проснулся я от свиста Степки. Пощелкал с ним, поговорил вдосьть. Взял банку меда, хлеба и потопал к Рыжему. Туман в саду стоял. По пути решил к Лизуну заглянуть, давно в минажериию не навевывался. Но смотритель сказал, что отдали мишек на откормку в мясные ряды еще с неделю тому.

— На что? — спросил я.

— Казна экономию наводит.

— И надолго?

— Как время для травли медвежьей подойдет.

— Через сколь?

— Да года через три можно на них собак пускать...

Дядя Пафнутия еще не было, когда я в храмину пришел. Наколот дров, натаскал напилек и свежего песку, сгреб старый песок и вывез на тачке. Рыжий сопел и хоботом в бадье шарил. Я ему муки с пшеном намешал, тростнику подбросил. Ага-Садык, видать, молился на коврике. Слезил я в подпол, достал курицу и поставил в чугушке на печку. Раздул самокип, а тут и дядя Пафнутий к чаю явился.

Я уже поведал ему, что получил от цесаревны пятьдесят золотых, однако упредил, чтобы он никому не говорил про то.

Дядя Пафнутий достал из шкафа скляницу.

— Не пил бы с утра, — сказал я.

— Яйца курицу не учат.

После чая обучал я дядю Пафнутия таблице Пифагора. Сказал, чтоб он всю таблицу изустно выдолбил. Сидел он часа два, устал и спросил:

— Ответь мне, всячинник. Вот один плюс один — два. — Он поднял чарку и капнул на стол. Вторая капля упала следом на первую. — Одна капля плюс одна капля — все одна

капля. Проясни, коль ты такой ученый, как так выходит? — Дядя Пафнутий ощерился, аки конь-излеток. Я поскреб в башке.

— Вот муж и жена, — сказал я. — Их двое, а они едина плоть.

— Я тебе про ворону, а ты про корову. Ты мужа с женою не трожь.

— Ладно. Вот тыща капель...

— Ну?

— А слить их вместе — один стакан получится. Так ай нет?

— Надобно проверить. — Дядя Пафнутий еще чарку опрокинул. — Кажись, так.

— Еллины еще две тыщи лет тому решали и никак решить не могли, когда капля становится лужей, а песчинка — кучей. Или еще. Бежишь ты за черепахой. Она в пяти саженьях от тебя. Догонишь ее?

— Коли пьян буду, все одно на карачках, а догоню.

— Ну, так смотри. — Взял я палку, на земле полосу прямую прочертил. — Тут ты, — я ткнул в один конец полосы, — а тут черепаха, — я ткнул в другой конец. — Покуда ты бежишь туда, откуда черепаха стала ползти, она проползет еще столь. — Я удлинил полосу на пядь. — Понял?

— Понял.

— После третьей чарки ты ползешь путь, что пробежала черепаха, она ж бежит от тебя, зане как всякая скотина, опричь Рыжего, на дух не переносит перегару.

— Тоже понял.

— За тот срок черепаха протопала еще столь. — Я удлинил пядь на половину. — Сей третий отрезок ты уже на брюхе ползешь и руку за ней тянешь. А она за то время успела убежать еще на столь. — Я помельчил черту, аки петрушку. — И выходит, что ты ни тверезым, ни пьяным ее не догонишь.

— Что-то намудрил ты, грамотей. Ну-ка втори.

Я сызнава показал дяде Пафнутию, как он не сможет догнать черепаху.

— Ай да еллины! Все вроде просто, ан и не просто. Ученые мужики были, хошь и язычники. Только ты ответь, чего ихняя ученость стоит, ежели я на самом деле в любом виде ее догоню?

— Тут-то и загвоздка. Еллины в толк взять хотели, как так получается: по расчетам, дядя Пафнутий черепаху не догонит, а в жизни догоняет без труда. Гадали долго...

— Не отгадали?

— Нет. Крестный мой говорил, что все мудрецы мира и досель отгадки не могут найти.

— Без чарки не обойтись. — Дядя Пафнутий еще тыщу капель принял. — Ладно, чего решать, коль ответ одному Богу известен. Ты не вилай, а скажи, как из двух капель одна получается.

— Заладил! — озлился я. — Единицу ты совокупил с единицей, а тут не совокупность, а умножение: единожды один — один, а не два. Сиди и учи.

— Объегорил, — вздохнул дядя Пафнутий. — Пойди травы скотине подбрось, Пифагор!

А вечером у Летнего сада встретил я принцессу Анну, посмотрела она на меня и улыбнулась. А потом и говорит:

— О тебе уже вся Европа узнала...

У меня в спине засвербило.

— Как так? — испугался я зело.

— Пойдем ко мне, расскажу.

— Да не смею, ваше высочество.

— Господи, на что я дикая, но ты дикарь — дальше некуда. — И за руку меня взяла.

Я жеребца у крыльца оставил.

— Прикажу накормить его. Пойдем.

Сердце у меня от радости к горлу кинулось. Аннушка повела меня через покои, обитые голубым, зеленым и малиновым штофом. Паникадила из чистого серебра висели в комнатах. Тишь да свежина везде.

— Заглянем в библиотеку, — сказала цветочек лазоревый. — Там меня Юлия ждет.

Миновали еще один покой и вошли в залу, где весь пол застлан был коврами. В углу кровать стояла, над нею настил, как в повети, козырек по углам в желтом штофе свешивался. Вроде опочивальня, думаю. Два дубовых шкафа и загороди складные из желтых створок стояли у кровати и столиков. Столики низенькие, малиновым и зеленым бархатом обитые. А стулья из простого камыша. На стенках сверкали подсвечники серебряные.

Из-за загороди вышла Юлия, и они с принцессой расцеловались.

— Привела нашего героя, — сказала Аннушка. — Упирался, как медведь. Но я на сей раз не испугалась. Садись, Асафий.

— А где же библиотека?

— Вот она, — удивилась Аннушка. Однако увидела, что я на кровать усталый, засмеялась: — Я люблю читать лежа. Садись же!..

Устроился я в камышовом креслице, а принцесса и Юлия рядышком.

— Асафий еще не знает, как он прославился, — молвила цветочек лазоревый.

Цветочек лазоревый распахнула створки шкафа и достала заморскую газету. Полки были заставлены книгами, как у моего крестного.

— Ты что словно аршин проглотил?

— Дай ему в себя прийти, — сказала Юлинька.

— Слушай, что про тебя написали. — Аннушка принялась читать по-нашенски.

Говорилось в той газете, что в России инда простые крепостные владеют не только грамотой, но и латынь изучают, и Шекспира читают. Писал газетный борзописец, что ежели моряк, попавший в пасть акулы и оставшийся живым, — чудо, то не меньшее чудо — русский крестьянин, постигающий основы европейской культуры. И хотя суеверие в простом народе — тут сочинитель про Царь-колокол поведал — пустило глубокие корни, однако Европа совсем не знает России, свидетельством чему служит доселе не открытое ботаническое чудо, сиречь дыня-баранец...

Как Аннушка прочла про дыню, у меня спина сызнова мурашками пошла. Очи цветочка лазоревого голубым смехом лучились.

— Ну как? — спросила она.

— Складно врет. Лучше, чем я. Их там, видно, загодя учат, а у нас все самоучки безымянные. Плетей ему не дадут за сие сочинительство?

— Да в Европе за такое деньги платят! — возгласила Юлинька.

Вот и мы Европу догнали: мне от цесаревны и государыни тоже перепало почету. Только плетей — сначала. Да и то: не мазана арба — скрипит, не сечен мужик — рычит.

— Ну, Асафий, — сказала Аннушка. — Будь нашим кавалером.

Повели меня другини в столовую залу. Все кушанья были разложены на хрустале, фарфоре и серебре. Хлебец-пеклевка нарезан и уложен на плетеной тарелке. В чаше фарфоровой соус грибной, свежие и соленые огурчики на блюде. И еще каплуны вцеле блестели. А в середине стола миска, полная гороху. И всякой травки к мясу и рыбе.

Датский посланник в храмине пользовал вилку с ножом. Я после пробовал, как он, да до рта не мог донести — соскакивало с вилки. Видно, Аннушка знала про то и сказала:

— Будем есть без церемоний и этикета, — и каплуна прямо рукою взяла.

Я вилок ухватил, блюдник сзади вино нам в венецейские бокалы подливал. Попробовал я семужку, как Аннушка, лимон на нее выдавил — страсть как вкусно выходило. И на хлеб все боле нажимал, чтоб голодным не остаться, из-за стола выйдя. Аннушка почти весь горох убрала ложечкой. Охоча, видать, была до него, как Степка. Разрумянилась, глаза увлажнились, уста от жира блестели, она их салфеткой утирала. Я уже брюхо набил, дале не лезет, а другини и того и сего и кладут, и кладут и все по-заморски щебечут.

На верхосытку слуга принес плоды невиданные — длинные, будто огурцы, с желтой кожей и с чернинкой по вершкам.

— Откушай, — сказала Аннушка, — адемову смокву.

Три плода я умял — и боле все. Каждый Божий день есть такое — тут и ангел не стерпит. Видать, после той смоквы наших прародителей и потянуло к райскому яблочку с кислинкой.

— Заморил червяка? — спросила Аннушка.

— Слона целого. Благодарствую.

— Я в иной день так проголодаюсь, что двух каплунов могу съесть. Юля бранит меня, что фигуру испорчу. Скажи, разве я раздалась?

— Фигурой и ликом в самый раз.

— Какой ты милый! Сколько тебе лет?

— Двадцать второй пошел, ваше высочество.

— Зови меня Анной. Невеста у тебя есть?

— Нет... Анна.

— И ты еще ни с кем не целовался?

— Ни с кем. — Я в стол глазами уперся и чую, кровь мне всю варю обожгла. Аннушка с Юлинькой так и прыснули...

— Будем играть в жмурки! — сказала Аннушка.

Миловзоровские девки тоже любили в жмурки поиграть. Завяжут парню глаза, он руки врасстыпырку, ловит девок, а после гадает, кого поймал. Отгадает, и девка его целует. Неужто, думал, и в царских дворцах так тоже бывает?

Перешли мы в покои, где стены были затянуты голубым штофом. Стулья и кресла убрали, чтоб не мешались. Аннушка смеялась, достала из комода шелковый платочек и мне глаза закрыла. Раскружила меня и — топ-топ — убежала. Прислушался — никого не слышать. Пошел наугад, руки раздвинул, слышу — слева платье прошуршало. Цап за подол, провел ладонью кверху — в поясе узко, догадался — Юлинька. Аннушка в ладоши захопала:

— Правильно!

Другиня приложила к моей щеке и сказала:

— Завязывай мне глаза.

Раскружил я другиню, Аннушка сбросила башмачки, вскочила на диван, палец к губам приложила и меня к себе поманила. Я тишком сапоги снял и тоже на диване устроился. Аннушка моей рукой уста свои закрывает, чтоб не прыснуть, перстенок на пальце моем поглаживает. Юлинька в другой угол пошла, прислушалась, а найти нас не может. Аннушка наклонилась ко мне, жаром на меня дохнуло, белая грудь с крестиком в прогалке вздымается. Смотрела она на меня очами своими голубыми. Не помню уж как, только взяла она мою голову обеими ручками и к губам моим своими устами прижалась, а глаза закрыла. Жар от ее тела мне передался. Не выдержал я, обнял ее, весь дрожу и чую, что лечу куда-то в бездну сладостную и несть ей конца...

— Ну где же вы? — спросила Юлинька.

Аннушка вздрогнула, отстранилась, очи ее туманом заволокло, ровно камушек бирюзовый. Оттолкнула меня, спрыгнула на пол и затопала босыми ножками по ковру. Юлинька за ней побежала, Аннушка юркнула вбок, в ладоши захлопала.

Дверь открылась, в покои вошел слуга.

— Ваше высочество, прибыл принц Антон...

— У, — Аннушка с досады топнула туфелькой в ладошку, — вредный тихоня, всегда не вовремя явится. Как нарочно. Скажи, я почиваю...

— Аннет, ты сама сказала, чтобы он пришел, — всперечила Юлинька. — Неприлично.

— Приличие, прилика, приличище!.. Пусть войдет. — От губ у Аннушки складки вниз пошли. — Юлия, проводи Асафия черным ходом.

Аннушка протянула мне ладошку, я три раза приложился к перстам ее, она провела рукой по моей голове.

— Не забывай меня, Асафий. Мне так весело с тобой, поверь. Только все хорошее быстро проходит...

С Юлинькой по узкой темной лестничке сошли мы вниз. Юлинька открыла мне махонькую дверцу.

— До свидания, — улыбнулась мне она.

— А кто он, принц Антон? — спросил я.

— Наш друг, — ответила Юлинька и подтолкнула меня к порожку.

Покуда я добирался на жеребце до храмины, поцелуй Аннушки все горел у меня на губах, а внутри музыка с перевалами звучала, будто я сызнова в пещере с водяным органом стоял. И так-то мне вольготно и радостно было, что инда умереть захотелось в тот же час.

И подумалось мне, что слова Алешки про польского посланника графа Линара — такая же байка, как и стриженная дыня. Не могла принцесса целовать его так жарко, как меня. Пускай у него и звание дворянское, и денег куры не клюют — не могла Аннушка полюбить его. Вот цесаревна — та себе на уме, хоть с виду весела и радушна, да глаз у нее на все кидкий. Видать, каждый шаг у нее проверен, потому как жизнь во дворце под вечной назырккой научила ее скрытничать. А мою Аннушку жизнь ничему не научила и не научит. Все думы у нее на лице видны, такой и пребудет до конца дней своих. Цесаревна думает, что говорит, а Аннушка говорит, что думает. Живет, аки птица Божия, без корысти. Однако и несчастнее иных, потому как больней бьют того, у кого душа открытая.

А уста у Аннушки были ровно атлас. И дух от них шел, как от меда с молоком. Мне все плакать и петь хотелось, никогда больше я так не забывал себя, как в оный день после Покрова. После-то и хорошо бывало, и весело, да не звенела та струна единственная, коей коснулся крылом ангел нечаянной радости. Только единый раз снова пришло ко мне такое, когда воснях узрел я в облаке сияющем возносящегося Бога. Однако то было воснях, и в слезах я пробудился...

Дядя Пафнутий пить бросил — сидел целыми днями в амбаре и на песке полосы чертил. Начертит, размельчит и сызнова сотрет. Так до лета в рот водки и не брал почти, разве что по праздникам приложится к полштофу, а по будням в трезвости пребывал. Водку, что я для Рыжего получал, он в бочку выливал. И к лету бочка всклянь была полна.

Купать Рыжего я уже водил без Ага-Садыка. Садился ему на загривок, Степка мне на плечо, и мы топали на Фонтанку. Иной раз проходили мимо измайловских казарм. Рыжий впримык к открытым окнам вставал, вытягивал хобот, трубил, и солдаты совали ему булки и сахар. Какой-то дурень, видать, из новобранцев, стукнул его раз палкой по уху и закричал: “Скотина! Через нее сколь людей от лихоманки померло!” Рыжий вырвал у него палку и в отместку тоже врезал дурню по ушам. Слон мой читать не умел и не ведал, что когда бьют по правому уху, должно и левое подставлять.

От горячки пятнистой и в самом деле летом народу на тот свет отправилось великое множество. Торговцы продавали мясо неклеименным, от него и пошла зараза. Даже специальный указ дала ее величество, что-де покойников зарывают только на аршин в землю, трупы гниют и воздух заражают, и приказано было хоронить как положено — на три аршина вглубь. Однако всегда умники найдутся, чтоб в болестях басурман винить.

Однажды после купанья вернулись мы на слоновый двор, а дядя Пафнутий сказал:

— Тимоха велел к нему прийти. И еще куцый сюда заглядывал. А я как раз самокип развел. Он меня спрашивает: “Чья печка-то? Смотрите пожару не наделайте...” Я ответил, что ты из Раменок самокип привез. Верно, опять что-то готовится...

— Тут без Миниха и Остермана не обошлось.

— Ты не встречай в паутину дворцовую. Иль бузунов мало дали?

— Что у тебя с еллинской загадкой, лучше скажи.

— Загадка твоя что бревно, сучками богата. Разжим плаху нудит, да сучки не дают. Слышь, может, письмо в академию отписать? Поглядим, как они вывернутся, а?

— Можно.

Дядя Пафнутий принес бумагу из флигеля, перо и чернила. Он уже всю цифирь по Магницкому знал, хитрые задачки, кои я досель часами решал, мог за минуту разгрызть. Охоч больно оказался до умственного счету. Я ему и так и сяк говорил и урезонивал: дескать, коль мудрецы не могли решить, куда уж нам соваться. Однако упрям был дядя Пафнутий, да и пытлив поболее меня.

Написали мы в Академию наук. Дядя Пафнутий руку приложил, за ним и я. Ответа скорого не ждали — покуда-то письмо по всем канцеляриям пройдет и к ученым мужам доберется. Да и спешить нам было некуда...

К вечеру пошел я к комедиантской зале и боковым подъездом прибежал к Тимохе за кулисы. Он красоту на варю наводил мазями да румянами.

— В воскресенье, — сказал он, — цесаревна Лешку пригласила на пикник. Лешка похвастался, что Рыжий твой — ученый слон, она и тебя со слонем пригласила...

— В карман, что ли, его заховать и на... как бишь его? на пикник? В латыни такого слова нет.

— Пир в лесу — вот как то называется. Самокип прихвати.

— Чтоб сызнова вогнулся?

— При цесаревне уймете языки свои. Сдается мне, обротала цесаревна нашего Лешку. Ничто. Не он первый, не он последний.

— У цесаревны?

— Вестимо.

— А у принцессы Анны? — У меня аж дух перехватило.

— А ей теперь замуж идти. Иль за выборзка Биронова, иль за принца Антона. Так государыня повелела. А как родится у нее сын, так, стало быть, он и станет законным наследником престола. Потому и торопит ее государыня. Понял, каков расклад?..

Все я понял. И в драку на сей раз не полез. Друг Аннушки принц Антон — ее жених. Не по любви в царском доме женятся, а по долгу, в интересах спокойствия державы. И

должны они нести крест свой, а мы свой. Потому как у всякого крест сделан из того дерева, что из его сердца выросло.

И все ж, дурачок, надежду я сохранил, что свадьба Аннушки и принца Антона должна сорваться. Иль принц заболит, иль Аннушка сама откажется, иль государыня передумает. Возомнил я о себе после того поцелуя на Покрова. Вот умыкнул бы я ее, и убегли бы мы с нею на край света. Пускай ловят, зато обвенчались бы, и пусть год, да наш был. А там хоть трава не расти. И колодки бы вынес, и цепи. Только ведь Аннушка — как заморский цветок орхидея. Корни ее в воздухе висят и воздухом кормятся. А посади те корни в землю — задохнется она и завянет. Так и жил я в неизбывчивой боли сердечной, сил не имея отказаться от любви своей...

В то воскресенье — по уговору с дядей Пафнутием — вывел я Рыжего из амбара, и пустились мы с ним к Смолянскому дворцу. Увидел я цесаревну и встал в пень: надела мужицкие портки и бахилы, как у егеря, до бедер. Вместо парика — шляпа с пером. Стояла цесаревна у фасада и жемчугами сверкала, покуда Рыжий выкручивал перед нею вензеля.

— Ваше высочество! — возгласил я, едва Рыжий получил от нее связку адамовой смоквы.
— Не проедетесь ли со мною на Рыжем до храмины? — и смотрю — побоится ай нет?

— О, це гарно! — обрадовалась она. — Алексей, вели подать коня к слоновому амбару и сам приезжай туда...

Рыжий хоботом подхватил цесаревну, она влезла ко мне и умостила спереди.

— Держи меня за талию, а то упаду с непривычки, — сказала она. Я было подхватил ее под бока, однако она засмеялась и продвинула мои руки дальше, так что я ее ровно замком держал. А Рыжий словно чуял, что везет Петрову дочку, и вел не валко, без рывков.

У амбара я прыгнул первым, цесаревне руку протянул. Рыжий ей — хобот, и цесаревна сошла на землю...

Здесь Алешка с Тимофеем уже дожидались. Алешка держал в поводу коня цесаревны с белой проточиной на лбу. Я еще с утра загрузил телегу снедью. Отвел я слона обратно в храмину и неторопко поехал следом за мужиками и цесаревной. Дорога тянулась лесом, что покуда не вырубил. Окруж березы и дубняки. День стоял вёдрый, ветер чуть касался вершков дерев и загасал в них покорно.

Но мне думалось — лучше б дома остался. С дядей Пафнутием куда как спокойнее, а так всякий раз что-нибудь да приключится.

И точно: перегородили дорогу всадники бородатые. Оглянулся я — и сзади тоже пешие и всадники. Вот нынче и потешимся с цесаревной. Опречь Саньки Кнута, никто по здешним дорогам не армаил. Я ж не дурак: раз цесаревна без охраны поехала, в телегу запрятал топор.

Ее высочество коня взнуздала, Алешка и Тимоха на лошадях по бокам встали. Объехал я их на телеге, дал жеребцу вожжами, и — но, родимый! — мужики впереди такого всплеску не ожидали, расступились они, я промеж них и — тпру! Глазом уже просек того беглого каторжника, что мне в спину топор послал. Саньки Кнута не было.

Соскочил я с телеги — топор в руке — и напрямик на каторжника. Он и охнуть не успел, я его за грудки и с коня. И топор над ним занес.

— Порешу, коль кто с места сойдет! — и зыркаю по конникам. Те топчут лошадей на месте. Держу я беглого за ворот и глаголю: — Вернулся топор к тебе. Вели своим ратникам на полста саженой отойти.

Конных было человек с десять, да пеших с пяток. Промеж них приметил я и мужичка, что когда-то у нас с тятей корову с заднего облук отвязал, приговаривая: “Не плачь, рыбка, дай крючок вынуть...” Держал мужик ружьишко, и я с него глаза не спускал.

— И тем, что сзаду, тоже прикажи.

— Мужики, пятьте лошадей на полста саженой! — прохрипел ссыльный.

А я уже башку его за волос взял и топор приготовил на взмахе.

— А ты, с ружьем, — кричу, — я тебя знаю. Велю Саньке Кнуту высечь тебя, паскудник...

Мужики развернули лошадей, а тот, что с ружьишком, потрусил за ними с оглядом, поправляя шапку. Те, что были сзаду, тоже все поняли и отъехали в обрат.

Выпустил я ссыльного, поднял он шапку, водворил ее на башку, пряжку на гашнике поправил и сказал:

— На вершок ошибся. Левей надо было брать, не махал бы теперь топором надо мной... А ты, девка, из Парижу, чай?

— Шапку долой, вор, когда с цесаревной говоришь! — крикнула Елисавет Петровна. Дала волю крови царской и не чуяла, что злобить ссыльного не должно, потому как за его спиной мужик с ружьем и две чертовы дюжины армаев.

— Чья ж она дочка? — каторжник их ко мне оборотился.

— Царя Петра.

— Какую птичку чуть в клетку не поймали! — Ссыльный подошел к телеге и прыгнул на нее. — В отца пошла. Сраму не боишься. Тот мужиков за бороды, а на баб мужицкие портки.

Цесаревна кнут подняла.

— Уймись, Петровна, — молвил ссыльный. — Я-то помереть не боюсь. Скажу — и мой товарищ скрозь тебя прошьет из ружья.

— А ты не охальничай, — встрел я. — Я уж на вершок не ошибусь. Ваше высочество, сойдите с коня.

Алешка был весь красный, аки рак вареный. А цесаревна послушалась меня. Видно, дошло в ее бабьи мозги, что мы не на машкераде.

— Вишь, как холопа своего слушаешь, — ухмыльнулся ссыльный. Он нашарил в телеге бутылку с шампанью. — Ну-ка, твое высочество, поднеси холопу Семену чарку...

— Смерд вонючий, — сквозь жемчуга процедила цесаревна.

— Ты, что ль, лучше пахнешь? От твоего семейства за версту кровью несет. Никакие румяна тебе не помогут. — Семен стал распечатывать бутылку, пробка сиганула и попала в цесаревну, прямо в ее грудь. Семен сызнава оскалился и выпил полбутылки. — Ох и колкое вино! — Он порылся в сене и достал кружку. — Нонеча какой день-то? Вроде двадцать шестой день месяца июня. Твое высочество не помнит, что двадцать лет тому приключилось. В тот день преставился царевич Алексей Петрович, братец твой, хоть и не единоутробный. Запытал царь сына родного. Ты, Лизавета, садись, в ногах правды нет, да и нигде ее нет. Не хошь, как хошь. Дослушай тогда. Мой батя кабак держал на Стрельненской дороге, в пятнадцати верстах от Питера, а ране был слугой у графа Ивана Мусина-Пушкина. Своими глазами он видел, как на его мызе царь пытал сына своего. Приехал отец домой и плакался о том. А выдал батю холоп князя Меншикова. И за то, что батя мой тайну ту проведаль, отрубили ему и его жене, мачехе моей, значит, головы в Петропавловской крепости. Случилась та казнь через полтора года после смерти царевича, декабря пятнадцатого дня. И доносчик получил пятьдесят рублей от Тайной канцелярии. И коль ты христианка, выпей за помин души моего батюшки, казненного по доносу...

— Выпить — выпью, — ответила цесаревна, — да только не тебе судить отца моего.

— И мне судить, и другим, чьих отцов да братьев он также жизни лишил. Числа им несть...

Семен кружку вылакал, спрыгнул с телеги и пошел по большаку в сторону своей ватаги без огляду. Только когда поравнялся с мужиком, что стоял с ружьишком, крикнул:

— Ежели б не твой холоп, Лизавета, порешили бы мы всех вас! А до царевой крепости я еще доберусь...

— Будь я царицей, — сказала цесаревна, — сей бы час отписала тебе вольную, Асафий, и семье твоей тоже...

— Будь вы ею, с холопами на пикники не ездили бы, а пуще без охраны. Остались живы, и слава Богу...

Дядя Пафнутий получил из Академии ответ, в коем черным по белому отписано было, что холопам не пристало лезть туда, куда их не зовут, и коль те холопы находят время размышлять над апориями Зенона, стало быть, их мало секут...

— Выкрутились! — сверкнул глазом дядя Пафнутий. — Не знают, как решить задачу, вот на плети и указуют...

Однако про письмо я скоренько забыл. От Алешки узнал, что арестовали князей Долгоруких и Голицыных, самых близких к цесаревне людей. Алешка ходил смурной, боялся, что могут и цесаревну арестовать. Признался, что дюже кохает ее. Слухачей он не боялся и пуще прежнего зачастил к ней.

А тут еще обвенчались принцесса Аннушка с принцем Антоном, и до ноября я проходил сам не свой. И то ль оттого, что в мороз дрова колол и распарился на слоновом дворе, то ль от чего иного, только однажды пришел я в амбар к Рыжему, а меня дрожмя бьет, зубы трещотку почали, будто ложки-межеумки у скомороха. Голова тяжелая, в глазах тьма. И колена ровно из ваты. Дядя Пафнутий чарку медовухи мне дал.

— У тебя не горячка ль ненароком? — спросил он.

Повел он меня в мою каморку. Степка околь нас верещал, понимал, что хозяин захворал. Дядя Пафнутий камин растопил, холодную тряпицу на чело мне устроил и сказал, что завтра заглянет ко мне...

Сколь часов прошло, я уже не соображал. Темень вкруж, а меня пуще лихорадило. Услышал, как дверь скрипнула, спросил:

— Дядя Пафнутий? Испить бы воды...

Никто не ответил. Подумал я, что бредить стал. Сел, а в глазах круги золотые с дырками, как у валдайских баранок. Услышал над собой дыхание. Чьи-то руки мне на плечи легли.

— Асафий, это я, Анна...

— Цветочек лазоревый?

— Я, я... Какой ты горячий, не жар ли у тебя?

Что сказать дале? Не был я Иосифом Прекрасным и соблазнился женой ближнего своего. Что было промеж нами, об том никому не положено знать — только Богу...

— Скажи мне молитву, — попросила напоследок Аннушка, — чтоб только моя была, и ничья.

— Агница Твоя, Иисусе, Анна зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую...

Аннушка вторила и все гладила меня по челу.

— Как же ты решилась?..

— Молчи, молчи...

И рассказала она мне, что вчера казнены Долгорукие. Четверо их было, двоих отправили в ссылку.

— Не уходи, — просил я ее и опять руки ей целовать принимался. Аннушка и смеялась, и плакала...

Не помню, как она исчезла. Всю ночь метался я и, сколько времени прошло, не ведал.

А как очнулся, увидел Тимофея.

— Лежи, лежи, — сказал Тимоха. — Четверо суток отхаживали тебя.

— Пить, — молвил я и захрипел. Тимоха чашку к губам моим поднес. Я выпил и назад во тьму провалился. Глаза открыл, чую — лежу весь мокрый, руки не могу поднять. Мерещиться стало — сидит предо мной ворожея Александра. Закрыв глаза, после открыл — морок не проходит.

— Пить, — попросил я, и тьма крошечная в третий раз меня поглотила.

С постели впервой я встал на восьмой день. Ноги дрожали, однако уже вжиль пошел, во рту сухости прежней не было, и язык вроде как свой ворочался. Степка в клетке дремал. Я тряпку взял и на клетку набросил. Пламя на свечке метнулось и обратно всподымя устроилось.

На тарелке яблочки аркадские желтели. В очаге угли теплились. Ополовинил я кринку молока, вернулся на постель и упал ничком. Проснулся — светло в каморке. Солнце вползло в окно и уже к изголовью моему подбиралось.

За окном весь сад был покрыт снегом. Надел я кафтан, Степку из клетки выпустил — нырнул он в фортку, к Рыжему полетел. Отлежался я за день и решил к обжорному рынку пойти в мясные ряды. Лизун там на привязи сидел, надобно было проведать его.

На рынке было слякотно, пахло рогожами, кислым пирогом и тухлым мясом. И ярыжек прибавилось невесть сколь. В мясных рядах заглянул я в сарай, где заперли Лизуна. Увидел он меня, заскулил, на задние лапы вспрял — выше меня вырос. Торговец, что дверь мне отомкнул, бранился:

— Из своего кармана платим. На ошейники да канаты разорились, а уж прожорлив — только подавай. Сколь еще держать, не говорят...

Мясник бурчал, покуда я Лизуну сахар скармливал. А я все гадал, примерещилось мне иль нет, что Аннушка ко мне в ночь приходила.

— А что столь ярыжек расплодилось на рынке?

— Так ведь после казни Долгоруких народ только про то и говорит.

Покуда я до амбара добирался, снег выпал такой щедрый, что все улицы устлало будто саваном иль фатой. Дядя Пафнутий узрел меня и запричитал:

— Иди ложись, на тебе лица нет!..

— Как Рыжий-то?

— Что ему сдееется? Здоров. Иди, говорю!

— Ты лучше скажи, кто у меня был, когда я хворый лежал?

— Я, Тимоха...

— А еще?

— Боле никого не видел.

На Рождество отпустил меня дядя Пафнутий в Раменки. На обжорном рынке купил я порося жареного, пшенки, орехов лесных, Дарье и Михаилу сладких пирогов и уложил кладь в разлогие сани. У рыночных ворот гуськом стояли подводы, груженные мерзлым салом. Я насчитал пятнадцать саней, и все с верхом.

— Куда столь сала-то? — спросил я головногого.

— Во дворец, к торжеству январскому на лиминацию. Замирение с турками праздноваться будет.

— И сколь пудов?

— Двести.

— Неужто?

— А допрежь еще триста...

— Говяжье?

— Оно...

Дал я мужику полтину, и он топором вырубил мне с полпуда.

...В избе, когда я в сени вступил, ударил в меня дух еловый. Матушка елку поставила под образами, тряпицами украсила. Выложила с поду пироги на стол. Тятя смолил бичеву и валенки подшивал. Откусив бергамот с коричной нутрецей, он спросил:

— Ну, Сафка, в Польшу-то еще не собрался?

— Начто?

— Двое наших, с коими Никита собирался убегнуть, намедни воротились.

— От добра добра не ищут.

— А они и не искали. Их нашли и вернули по царскому указу.

— Ну и что говорят?

— Что мужик там купается, аки сыр в масле. Дали им землю, по паре коней и коров, птицу, и все за так. Сказали, отработаете опосля. За шесть лет скопили товару столь, что расплатились, еще коней купили и скотину. Амбары полны зерна, кормов на две зимы вперед — пьяны и нос в табаке...

— Веру-то не заставили сменить?

— Не трогали. Однако сказывали, будто нашего флоту капитана, что в жидовство перешел, и жида, что его обрезал, сожгли заживо, как отца моего на Болоте...

— С чего ж их тогда вернули-то? — спросил я.

— Чтoб другим неповадно было. Этак все подадутся со своих мест. И так уж в деревнях мужиков не осталось. И я бы попробовал, да куда уж — обык со своими босяками жить. Годы не те. Кости, знамо дело, к стуже ломит...

Замирение праздновали на масленицу. Государыня приказала выволочь на площадь перед Зимним дворцом жареных быков с золочеными рогами. Вместо водобоев из труб вино било струей. Честной люд свалку устроил, чуть не передавили друг дружку. Пил и ел всяк, у кого локти бойчей были. А после в небе фейерверк загорелся и светло стало, как днем. Золотые звезды фыркали и искрились. Взлетало к небу сало мужицких буренок. Я под тем звездопадом увидел окошь ссыльного Семена, к нему бочком пробился:

— Здорово, Семен.

Он зыркнул на меня, губы скривил и ответил:

— Вот и добрался я до крепости вашей!..

Он свистнул, к нему три мужика подошли в зипунах. Одного я сразу признал — того, что с ружьишком был, когда армаи цесаревну окружили, а ране буренку увести у нас с тятей хотел. Семен им что-то нашептал, и они скрылись в темени. Почуял я неладное в его ухмылке криворотой.

Православные радовались, что война кончилась, что не посекут боле сабли турецкие и не побьют пули русских головушек. Где ж те новобранцы, кои сейчас без рук и ног по избам лежат и не ведают, что здесь задарма золото и серебро бросают в народ и быками потчуют? А они и корочку сухую сами себе в рот не могут положить.

Опаска моя о Семене не напрасной была. Назавтра застал я дядю Пафнутия во флигеле пьяным. Из-под кустистой брови один глаз меня пронизал, а левый веком был прикрыт. Знать, еще не всех чертей выслепил.

— Что в бочке водки осталось, — сказал он, сгрызая луковицу, — в казарму отвезешь на поминки...

— Чьи поминки?

— Митьки моего.

— Ты что?!

— Не штокай. Митьку воры в крепости вчера убийли, на карауле стоял. Пятьсот рублей денег казенных покрали и сбегли. А Митьку кистенем по виску...

На отпевание в храм приехала цесаревна в трауре. Солдаты расступались, когда она ко гробу шла. На глазах цесаревны слезы посверкивали. Батюшка кадилом размахивал, солдаты перешептывались.

Митька лежал в шестидоске-домовине будто живой. Свечка в руках его слезилась, и пламя в храмовом духе щель искало, куда бы можно было всплыть и успокоиться. В головах Митьки стоял дядя Пафнутий. Сухие губы его шевелились, оба глаза закрылись. А рука лежала на Митькином виске. Знобко мне стало и сиротно. Поднял я дядю Пафнутия и увел к себе. Сам на полу устроился. В тот день не стал я ему говорить, кто Митьку порешил, а рассказал после. Дядя Пафнутий чарку наполнил и молвил:

— Гореть убивцу в геенне огненной без покаяния...

Алешка Великим постом ходил чернее тучи. Елисавет Петровна открыла ему, что фельдмаршал Миних вызывал ее лекаря и предлагал за надлежащую награду докладывать ему, с кем встречается цесаревна. Лекарь дал полный отказ. И еще Алешка добавил, что государыня прознала про наш пикник в лесу и про Семена и его армаев тож.

К лету сызнава дымная мгла из лесов потянулась к Питеру. А дядя Пафнутий и того не замечал. Коренник болотный подземным жаром объят был, а дядя Пафнутий всю землю у амбара исчертил прямыми да углами. Курам зело нравилось оное увлечение дяди Пафнутия — клевали они те линии в охотку: в расковырянной земле черви да букашки ползали.

Тимоху я всю весну не видел. Алешка тоже носа не казал. Однако прибежал, когда дядя Пафнутий землю на дворе взрыхлил уже так, что можно было рожь сеять...

— Ты заутро можешь мне подсобить? — спросил Алешка.

— Утром я Рыжего на реку вожу.

— Це мне и треба. Слухай. Миних посылает за цесаревной кучеров, нюхают они, куда она едет и с кем видится. Втямку тебе то?

— Не втямку.

— Твоего Рыжего кобылы бояться. Помешать треба кучеру поихать за цесаревной.

— Вот так-то втямку...

Заутро повел я Рыжего на Фонтанку чуток поране, чем доселе важивал. Как он со Степкой откупался, двинулись мы к обжорному рынку, велел я Рыжему стоять, а сам на крестец

сунулся поглядеть, когда покажется карета цесаревны. Обложили цесаревну так, что нудили ее все время бороду на плече держать после убиения Долгоруких...

Вскоре и впрямь карета из-за угла вывернула. Но подкатила ко мне и остановилась, и вышел из нее Василий Никитич. Сколько лет не виделись мы с ним. Постарел он, осел, огрузнел. Складки у губ глубокие, аки борозды, глаза потускнели. Обнял он меня и сказал:

— Настоящим мужиком стал...

И все на палку свою опирался.

— Когда вернулись, Василий Никитич?

— Недавно. — Он свел брови, и складка промеж них разделила переносье. — Сенат мое дело рассматривает. В казнокрадстве обвиняют. Сколь тех изветчиков прошло на моем веку. Помешал Демидову грабить казну. Крепче всех кричит “держи вора” сам вор. Вот так-то, Асафий... На старости лет и меня хотят, как Долгоруких, в расход пустить. Думаешь, немцы? Свои же. Ну, да Господь с ними. Ты что тут делаешь?

— Слона водил купаться на Фонтанку, Василий Никитич.

— Мне бы так, — вздохнул Василий Никитич. — Скотина тем отлична от двуногих тварей, что у нее завсегда есть чувство благодарности. Прости меня, старика. Поеду... Как-нибудь загляну в твой амбар...

А карета цесаревны все не появлялась. Я уж помыслил, что в обход отправилась. Однако тут из-за дальнего крестца справа выехал рыдван с четвериком лошадей и всочь мне устремился. Как со мною поравнялись, занавеска в окошечке разошлась и я лик цесаревны приметил. Возница кнутом нахлестывал, и лошади в колдобинах широкую ископытть оставляли.

Глядь — из-за того же угла бричка вылетела. Я Рыжего поманил, забрался на него и на середку улицы вперед вывел. Когда бричка была сажень в двадцати от меня, поставил я Рыжего на дыбы и велел трубить. А бричкой-то Петька Куцый правил. Лошадь в оглоблях вздыбилась тоже и заржала. Куцый вожжи натянул, лошадь в сторону шарахнулась и обратной ходой по улице брызнула. Рыжий за ней по пятам и трубит на всю Ивановскую. Понесла кобыла, я Рыжему сказал: “Стой!” Куда там — топчет, негодник, не слышит меня. Тогда я свистнул, и Рыжий на шаг перешел. Потряхали мы к соседней улице, что вдлинь пять кварталов тянулась. Надобно было проверить, чтоб Куцый обходом следом за цесаревной не утек.

Выбрались на иной крестец — Куцый уже вкуче с помощником скачет на бричке. Рыжий сызнова затрубил — лошадь в пень встала, копытами забила и впятилась бричкой в чьи-то ворота. Упустил-таки Куцый цесаревну. Будет ему новый нагоняй от Миниха.

К амбару повел я Рыжего через Аничков мост. Ступили на него, а у Рыжего задняя левая нога вполовину провалилась сквозь доски настила. Слетел я с загревка, Рыжий головой мотает, стонет. Я помог ему ногу выпростать и вижу — под коленом у него занозища с

локоть. Ну, думаю, была не была, рубашку с себя снял, на полосы порвал, дернул что есть силы за щепу, кровь брызнула. Я наскоро ему тряпками рану перетянул, и кое-как дохромали мы домой.

Стали искать лекаря — не нашли: отбыл на травлю с государыней. Дядя Пафнутий забросил свои параллели. Омыли мы рану Рыжему водкой, я в роще бересты нарезал, бастарму наложил, так что и без лекаря все в три дня затянулось. Да тут Степка, видать, захворал — сидел в своей клетке, никуда не летывал; свистел я ему ямским свистом, трещал и клыкал — Степка ответит раз и смолкнет, не в охотку ему было даже на своем языке говорить. Однако брал я его всякий день к амбару, пусть, думаю, поболее летает. Только гороху рад был Степка, как и его отец приемный, и любил горошек, аки цветочек лазоревый.

Понес я Степку к минажерии, где на сто ладов соловьи по утрам заливались. Может, думал, повеселеет скворчина от пения, малость мымрить отвыкнет. Сидел он на моем плече, коготками кафтан уцепив, думу скворчиную думал.

Липовой просадью вышли мы за дворец. Соловьев в деревьях не видать было, только бульк да свист по саду разливался. Встрепенулся Степка, глаза растворил и головою стал вертеть. Усмотрел сороку, трещавшую на березе, пустил ей встречу крику с десятков горошин, взлетел и с дерева на дерево вперед устремился. Затрещали в купах братья его. Верно, на стаю скворчиную налетел Степка. Сбоку грай и карк вороний слышен был. Два косача с сосенки сорвались. Вдруг — ба-бах! — раздалось. Палил кто-то из ружья со стороны дворца.

Выбежал я на дорожку, что ко дворцу вела, и вижу: в окне сводчатом нароспашь у торца стоит ее величество в зеленом платье с персидскими узорами и штуцер в ручках держит. Приклад у штуцера на солнце бликует, видать, насечка на нем золотая. Повернула государыня голову к покоям, ружье кому-то отдала и берет в ручки лук. Вложила в него стрелку точеную и еще в кого-то целиться стала, аки амазонка. Пустила одну стрелу, вторую, третью. Я в сад нырнул. Бежал и думал: не дай Бог Степку заденет...

Пробежал саженой сорок, чуть с потычка не упал. Лежал на земле косач убитый. Я дальше припустил. Сорока строчила захлебом, с ветки на ветку перескакивала. Хотел свернуть у орешника, да в промежке веток пятнышко темное усмотрел. Подскочил — Степка кверху лапами промеж веток запутался. Выпростал я его, и вся рука у меня от крови слиплась. Дробина в спинку ему попала и впронизь брюшком вышла. Охолодел он у меня в ладони, отвердел, покуда я его нес прочь. Что ж, думаю, за место такое проклятое, где инда птахе малой помереть своей смертью не дадут?..

Дядя Пафнутий в амбаре физику читал, что я ему намедни из книг покойного барина отобрал, когда он стал донимать меня расспросами, отчего к янтарному камню, ежели оный потереть, напилки липнут. Я его кликнул, он отмахнулся — не мешай, мол. Тогда я ему на стол Степку положил. Он глянул на убитую птаху, после на меня и рек:

— И его тоже...

Встал он, взял Степку, велел мне лопату принести. Покамест я рыл яму, в хранине Рыжий трубил, жалостно так и долго. Чуюл, невольник добрый, что боле шкуру ему никто выклевывать не станет и не споет “Коль славен...”.

Летняя межень выдалась жаркой. В мясных рядах обжорного рынка старшина уприсил меня написать прошение в дворцовую контору, чтоб оплатили прокорм медведей за четыре года, на имя командующего охотами полковника фон Трескау. Старшина считал на перстах: плата рабочим, покупка канатов и ошейников, а также корма, — получалось две тысячи триста четыре рубля семьдесят восемь копеек.

— Чего ж ты сразу не востребовал? — спросил я. — Нынче получишь от барабал дворцовых семь тысяч без четырех, да три улетело...

— Приказано было кормить и содержать без отговорок, — ответил старшина. — Ежели от недовольного корму заморены были бы, учинили бы мне наказание...

Надобно было спасти Лизуна от травли. Всех только Господь спасает, а мне хоть бы одного спасти, да и то медведя.

Обошел я сарай. Доски плотно были прибиты. Однако у двух горбылин усмотрел я малый промежек. Топор в аккурат туда мог влезть.

Задумал я увести Лизуна. Через три дня месяц совсем затонел, я уже без Степкиной молитвы привык подниматься. И когда еще не ободняло, подобрался к сараю, подцепил три доски топором, а после еще две снизу, пролез в скважину и на шепоте позвал: “Лизун, Лизунчик...”

Закряхтел мой мишка, я в ошупь отыскал его в углу, сахару дал, цепь с крюка снял и подвел Лизуна к скважине.

Часа два шли мы, напали на поляну, где по кочкам брусника с морошкой рассыпаны были. Лизун налакомился, и мы дале побрели. Стало гарью припахивать.

Снял я с Лизуна ошейник:

— Иди живи на воле...

Только молвил — глядь, сквозь чащобу всадник пробирается. Кобыла прямо на нас ступает. Пригляделся — ссыльный Семен на лошади. Увидел меня и Лизуна, повод натянул, лошадь остановил. Лизун вспрял на задние лапы, повел носом и заревел. Лошадь под Семеном — в храп, а я топор из-за пояса достал.

— Ты Митьку убил в крепости? — спросил я.

Семен молчком кобылу вспять повернул.

— Стой!

Лизун, видно, тоже почуял неладное, шерсть вздыбил и следом за лошадей припустил. Опредил увалень меня и замелькал промеж берез в сажнях пятнадцати.

Выскочил я на кромку леса, а дале выгарь черная шла и топь с обугленными кочками. Семен на кобыле прямо по топи мчит, у кобылы ноги проваливаются, из-под ног дым вырывается.

— Стой!

Да куда там — понесла лошадь, не остановить. Семен дергал поводьями, почуяв беду, а та все вперед и вперед. Лизун сперва в пень встал, после забегал по окоему топи, однако на выгарь не ступал.

Не успел я еще крикнуть, как полыхнула под кобылой земля, заржала кобыла с отчаянья. Семен тоже истошный воп издал, и оба — он и лошадь — под землей исчезли. Огонь всподымя полыхнул над ними и утих. Зола толкуном над тем местом поднялась, и все кончилось.

Тут и припомнил я слова дяди Пафнутия, что сгорит Семен в геенне огненной без покаяния. Я картуз снял и перекрестился.

А Лизун ни на шаг от меня не отстает. Я и так его по добру, и топором замахивался, он и знать не хотел ничего — вперевалку за мной тянулся. Тьфу ты, думаю, орясина, спас медведя от пули. Сел на пень, Лизун посидел в ногах у меня, понюхал дух, от сосняка шедший, нехотя к соснам повалил. И бочком-бочком покрался прочь. Подождал я в орешнике с полчаса — нет Лизуна, и пошел назад на слоновый двор.

В Питере колокола трезвонили — что ж за праздник такой? До Успения еще три дня оставалось. Рассказал дяде Пафнутию про встречу с Семеном, а он молвил:

— Доразбойничался. Пересеклись полосы его жизни и смерти. Только не желал я ему такой кончины. Ад ведь что такое? Вечная смерть и мука. А на земле у него смерть легкой была...

— Моего деда на долгом огне жгли.

— Дед твой в раю обитает, раз на земле мучился. Поставь нынче свечи в храме — Митьке и его убивцу.

— А почто в городе трезвон?

— У принцессы Анны сын родился...

Засветил я две свечи в храме, как дядя Пафнутий велел, и две за здравие Аннушки и сына ее новорожденного.

Недаром в конце февраля, на Касьяна, гром с молнией ударили, известили, что весь год будет недобрый. Ее императорское величество Анна Иоанновна в октябре Богу душу отдала. И наследником престола провозгласили сына цветочка лазоревого, Иоанна Антоновича...

И что самое дивное — бывшего картежника, конюха и полюбовника покойной самодержицы арестовали и сослали, генерал-фельдмаршала Миниха разжаловали. А Петька Куцый мало что на своем месте утвердился, однако и разъезжать стал на камергерском Фаворите. Видать, не только Бирону и Миниху служил с Остерманом.

На Вербную утренник выпал. Знамо дело, яровые должны были дружно пойти. В Страстную субботу поехал я в Раменки. У Михаила и Дарьи трое сынов из кута в кут по избе бегали без порток — на близняшек в срок не напасешься. Ин как вышло — сколь годов Дарья с Ванькой Косым жила, а ребятишек не нажили, а тут сразу тройня. Сколь мне было ждать своих троих сынов, ежели верить ворожее Александре, — неведомо.

А в Питер возвратился, сложил в каморке на стол кулич да яйца, завернутые матушкой в белый лоскут, глянул в окно — и застыл, как в мороке: рубили в саду клены и яблони аркадские. Мужики комли корчевали и все триста гряд с землей заподлицо сровняли. Околь мужиков похаживал сержант в черном картузе — на год траур по усопшей государыне печальная комиссия объявила. Неужто, думаю, и в моей Аркадии промеж грядок и дерев вору объявились?

Выскочил я в окно и закричал:

— Что ж творите, вычадки? Почто рассаду и дерева губите?

Сержант ответил:

— Велено площадь устроить для экзерциций лейб-гвардии и драгунского полков.

— Тогда и дома сносите.

— Снесут через три дни.

— Порубал ты, сержант, Аркадию вместе с яблоками...

— Сие дело нужное. Зря шумишь. Ежели всякий на свой манер начнет рассуждать, баламуты голову поднимут. Тут и до бунта рукой подать...

Утром собрал я свои нажитки, и определили мне место в доме заодно с дворцовыми резчиками. У них в светлой зальце своя мастерская была с верстаками и всяким инструментом. Окошки высились на сажень, так что солнце мастерскую облучало, ровно стен и не было. И дух стоял в мастерской смоляной, будто в лесу. Пилое дерево напоследки дышало всей грудью открытой. В углах катыши, пиленные из голени, — сосна, дуб, липа и клен. У верстаков заготовки кучились, доски и гладко струганные брусы.

Стал я мастерам бодрянку носить, а они меня резному рукомеслу учить. И покуда я чураки и ольховые напльвы резаком пробовал, мастер Степан выдолбил катыш дубовый. Три дня молчком смотрел я, как он с дубом мучился, а после спросил:

— И что будет?

— Люлька.

— Кому?

— Так правительница опять брюхата, вот-вот разродится.

Эх, ежели б не Рыжий и не дядя Пафнутий, возвратился бы в Раменки, пахал бы, сеял и косил, ел бы кус ржаной, а не пшеничный — зато свой, не казенный, и на родимой печи грел бы кости...

Степан через неделю такую люльку выстругал с хитрыми вычурами, выблестил ее песочным лоскутом, покрыл морилкой, что инда самому захотелось в ней полежать.

— Теперь дело за обойщиками, — сказал Степан, вытирая руки о фартук. — Изнутри тафтой должны обить. Они как раз в опочивальне Ивана Антоныча голубой штоф на зеленый поменяли на стенах. Помоги люльку донести...

Я поднял люльку и понес ее один. К Зимнему мы подошли с тыльного хода и низенькой лестничкой поднялись наверх. Степан шагал впереди. Слуга, узрев люльку, открыл дверь.

— Клади здесь, — сказал Степан. — Дале опочивальня Ивана Антоныча.

Дверь в опочивальню створками впятилась, и вышла в белом чепце молодуха с грудью, на коей самокип можно было ставить, круглощекая, в белом фартуке.

— Принес? — спросила она.

— А как же. — Степан впримык к ней подался и правой рукой за бок прихватил.

— Ну что ты, Степашка! — зарделась молодуха.

— Сафка, пойдй посмотри на наследника, — сказал Степан и морг мне глазом.

— А можно? — спросил я молодуху.

— Только близко на него не дыши. Умучился он совсем, все кричит и кричит, кикса напала...

Я шагнул в опочивальню, и мослы мои в ковре утонули. Увидел дубовые табуреты, обитые зеленой тафтой под цвет штофа на стенах. И три колыбельки по углам: одна орехом клеена снаружи, другая серебряной парчою, а третья сплетена из прутьев. Огляделся, а в нише на перине лежит голыш и сосет большой палец левой ноги и кряхтит с натуги. Глазищи круглые уставились на меня. Палец сосать Иван Антонович перестал, задницу опустил и меня рассматривать принялся. А я молчком тоже на него смотрю и

вижу, что под левой грудкой у него чернеется вроде что-то. Думал, муха, наклонился — ан не муха, а родимое пятнышко. Рот у Ивана Антоновича расползся, и булдырь из него пустил император...

— Сафка, — в дверь сунулась голова Степана, — пошли...

Вышли мы из дворца, Степан глянул на меня и сказал:

— Варезку подбери. С чего забалдел-то? Кормилицы никогда не видел? Я с ней давно милуюсь, как мужика ее в рекруты забрали. Хорошая девка Авдотья. Как прижмет, так в грудях и утонешь, и ничего боле не надобно вроде.

Только я его не слушал. Дум в голове было, что дыр в решетке. Я все родимое пятнышко под левой грудью Ивана Антоновича видел и булдырь на губке. И мурашки по позвонкам к потылу сыпались. Я персты загибал, как старшина в обжорном рынке: декабрь, январь, февраль... Иван Антонович родился в августе двенадцатого дня. А пришла ко мне Аннушка в каморку в ноябре двенадцатого дня. Девять месяцев — день в день, вчиль, аки капля в каплю, — ходила Аннушка с Иваном в чреве. И родиминка моя на нем, как у деда Арефия, тяти и Никиты. Стало быть, наследник и взабыль не Иван Антонович, а Иван Асафьевич? Пресвятая Богородица, спаси и помилуй!..

Овечерь стал читать молитву на склон, ан не читается. Все родимое пятнышко вижу пред собою и будто слышу чей-то голос: “То твой первенец...” И лик ворожеи Александры внезапно в мысли предстал. Так-так-так. Напророчила она, что увижу я своего первого сына единый только раз и ожидает нас с ним разлука на всю жизнь. А я вот завтра же возвращусь со Степаном во дворец и еще на Ивана Асафьевича полюбуюсь.

Да не успел я во дворец попасть: цветочек лазоревый дочку родила, а тут и война со шведами пришла, во дворце народу тьма-тьмущая, незаметно не прошмыгнешь. Да спешить-то мне было ни к чему — успеется, думал, через месяц-другой все одно проникну, не крепость ведь Петропавловская.

На день рождения Ивана Асафьевича из пушек палили, били в колокола и фейерверк устроили знатный: в небе огни вычертили младенца, что сжимал в руках двух змиев. Изобразили моего сына Геркулесом — тот в люльке тоже двух гадов удушил.

А тут указ из Сената к комиссару прислали. Шах персидский подарил сыну моему четырнадцать слонов, и к сентябрю должны их были доставить в Питер. Дано в указе было распоряжение по канцелярии от строений, чтоб удобные амбары иль хранины сделать и приготовить заблаговременно, употребляя на то деньги из положенной на публичные строения суммы, из коей загодя выдать две тысячи триста тридцать четыре рубля...

— А где те амбары возводить собрались? — спросил я.

— Архитекторы Земцов и Шумахер, — ответил комиссар, — определили у Лиговского канала.

— Ваше благородие, — всперечил я, — уже я докладаю, что у Фонтанки-реки вода лучше и здоровее, там и строить нужно.

— Вот и отпиши в комиссию по строениям, что ты мыслишь по оному делу.

Я и отписал. Что опричь храмин надобно сделать по Фонтанной реке для прогулки слонам площадь, кою назвать слоновою, и для лучшей способности всем слонам ради купания устроить к реке удобный скат. Что не только загородные дороги и Санкт-Петербургские улицы и мостовые надобно исправить, но и Аничков мост через Фонтанку, ибо находится он в ветхости немалой: настилка на нем во многих местах сгнила и наскрозь пробивается и надобно заблаговременно его починить, дабы в том было без опасности и слонам не могло быть какого повреждения. И что другие мосты тоже нужно перемостить...

Комиссар прочел мою грамоту и вякнул:

— Смотри-кась, прямо генерал от архитектуры! Ладно, Ага-Садыка отправьте осмотреть дорогу, по коей слоны в столицу придут...

А в Раменках меня уже письмо от Никиты ждало. Сообщал братец, что зачислили его в команду по охране слонов, коих шах НаDIR слал в подарок наследнику. И что беспрерывно самцу и самке слоновой придется отдельный амбар строить, потому как они доселе жили вособь от прочих. И еще Никита поведал, что посланник персидский обухами не только наших солдат охаживает, инда на самого подполковника замахнулся, что конвоем нашим командовал. И что ему, Никите, тоже от посланника перепало. А жаловаться не могли, потому как дипломатия такая наука: тебе плюнули в глаза, а ты утерся и сказал, что Божья роса. Спокойствие державы того требует.

Так я комиссару и доложил, что надобно особый амбар слону и слонихе, и в комиссии по строениям согласие дали.

Дядя Пафнутий начитался физики, нашел скляницы пузатые, колеса всякие и опыты начал проводить, однако я уже не встречал, потому как резным ремеслом занялся и вырезал из чураков липовых Степку, Лизуна и Рыжего. Выблестил их, протравил и у себя в светелке на окно поставил. Степан сказал, что через год могу я в подмастерья идти в ихнюю бригаду. И открыл мне место, где можно хорошие чураки отпилить от комлей, прямо около Стрельненского большака. Мастера-то свои деревья знали наперечет, выдерживали их в сушильных шкафах месяцами, у них и за деньги их было не выпросить...

Отправился я большаком в лес на Воздвиженье, когда змии в лесу уже попрятались. Осень о ту пору выдалась теплая и вёдрая. Истинно бабье лето. Лист на деревьях был на излете, желтелся и золотом червонным полыхал. И паучьи тенета промеж веток серебрились на солнышке. Кой-где на кочках сиротилась морошка с голубикой да клюква соком наливалась. Как схватит ее морозцем, надобно собрать поболее и клюковку настоять. Деревяшки отдавали земле свой последний дух, чтоб на исходе жизни ничего себе не оставить.

Отыскал я спелые липы, да комли были боле с отлупом, с час провозился, покуда нашел свежие срезы, не тронутые дождем. Выбрал четыре комля, захватил выпилки в

мешок и вобрат тронулся, ублажня утробу морошкой. В прогалке берез и осин трава еще густилась, ровно летом. Расстелил я кафтан, лег и в небо уставился. Никуда идти не хотелось, так бы лежал и не думал ни о чем. Только, глядя в небо, думы свои все к одному обращал — к Аннушке и сыну Ивану. Как же так судьба повернула, что у царской племянницы сын от меня родился? Как же судьбу мою Александра провидела?..

Небо в глаза мои текло вместе с солнышком, прикрыл я веки, и лучи брильянтом в зрачках заиграли. Разморило меня от тепла, и уже чудиться стали голоса какие-то — один вроде цесаревны, а другой слова кургузил, вроде по-нашему и не по-нашему. Открыл глаза — а голоса не пропадают, еще ближе ко мне. Прислушался — точно, голос Елисавет Петровны! Сторожко голову приподнял. Мать честная, за ореховым кустом сама цесаревна с каким-то мужиком в бархатном кафтане. Неужто Семен-каторжник не научил ее беречься и гулять с охраной? А ведь бархатник, что впримык к ней стоял, не то что без ружья, а и без топора. Только палочка в руках да шляпа. И имя, что цесаревна называла, у него чудное было — мусье Шетардби.

Лежу я, не шелохнусь — напугать боюсь. Стал слушать. Цесаревна с русского на картавый французский переходила.

— Да, господин маркиз, вы правы, не следует приближать к себе Бирона, однако поймите, что при дворе нет никого, на кого бы можно было положиться. Один генерал Ушаков сумел бы помочь. Остерман только и ждет, когда правительница заставит меня отказаться от престола...

— Это правда, что Юлия Мейгден не позволяет принцу Антону входить к принцессе?

— Да, и тем не менее у нее уже второй ребенок...

Маркиз Шетарди пустил смешок:

— Пора решаться, ваше высочество. Ссуда, которую вам выделил Людовик Пятнадцатый, — только начало.

— Передайте мою благодарность его величеству. Но помните, что обещала мне Швеция — манифест о том, что шведы идут на помощь потомству Петра Великого. Русские самоотверженны, но русского надобно заставить решиться, сам он на такое не способен. Внук Петра Великого должен находиться в шведском войске. Тогда шведы не только не потерпят поражения, как случилось полтора месяца назад, — русские гвардейцы сумеют постоять за герцога Голштинского. И ежели мне не суждено будет взойти на престол, его займет внук моего отца...

— Ваше высочество, вам нужно торопиться. До принцессы Анны уже дошли слухи...

— Принцесса — искренняя дурочка. Когда граф Линар советовал заставить меня подписать отречение от престола, принцесса сказала: “Зачем? Там чертушка, что все равно не даст нам покоя”. Так она назвала герцога Голштинского. Она не умеет беречь козырей к концу игры и всегда проигрывает. Посему, господин маркиз, пусть шведы поспешат с манифестом.

— Нам пора возвращаться...

Я поднял голову и глянул вслед — цесаревна с маркизом шли к большаку. Тот палочкой листики сшибал и все что-то картавил, а цесаревна смеялась.

Значит, что же это выходило: король французский посылал червонцы цесаревне, чтоб та, видать, гвардии подарки раздавала на крестины? Поиздержалась, поди. Одному мне пятьдесят рублей отвалила. Может, тоже из кармана Людовика? Да срамно не это было, а что цесаревна снюхалась со шведами и на шведских штыках хотела посадить себя на трон иль племянника своего. У кого ж она помощи просила? У вчерашних врагов отца рбодного. И мою Аннушку глупой назвала за то, что та кривить душой не умела, не умела лукавить, чтоб своего добиться. Все точно видела цесаревна. Куда ж ты, Асафий, вкобенился? Тебе бы с твоим умом да холопским званием не ананасы, а ржанину нюхать. Мудрым был отец Василий — все узрел, не то что я. Угодил я промеж цветочка лазоревого и цесаревны, аки зернышко промеж жерновов. Одну люблю, другой стерегусь. Однако брань невидимая, кою я вдогад взял, бесперечь вершилась меж тою и другою, и все во дворце ждали, чей жернов быстрее истрется — принцессы иль цесаревны. Ох, цветочек лазоревый, друг мой ситный Аннушка. Престол-то царский — сам в корню, а две ляжки в пристяжке...

Степан чураки мои осмотрел, просвистел лиговскую припевку и доволен остался, когда я ему один отдал.

— Когда к Авдотье наведаться собрался?

— Заутро беспрременно.

— Караулы-то не убавили?

— Какое убавили! Еще пригнали. Дряят паркет, везде обои меняют. Серебром обшивают.

— Возьми медведя моего, пускай Авдотья Ивану Антоновичу подарит.

— Да у твоего Ивана знаешь сколь игрушек — на всю твою деревню хватит и еще на десять останется.

— А такой нет.

— Ин ладно. А чего не женишься, коль так детишек любишь?

— Погулять еще хочу.

— Тоже верно. А я, видать, на Дуське женюсь. Убили ее мужа-то шведы. Сладкая баба, и добрая и крепкая, будто яблочко высококое. Кидок я на бабью крепость. Настрогаем мы с ней сынов поболее, чем ты чурок принес, благо мое долото не затупится лет сто... Давай-ка причастимся по маленькой.

Степан принял две чарки, я пить не стал, надобно было еще раз протравить медведя, да и встать поране. Дядя Пафнутий велел свежего песку навозить и напилкок...

Ага-Садык ежедневно ждал прихода персиянских слонов и сам водил Рыжего гулять: авось, думал, тех слонов на большаке повстречает. И довстречался — вернулся с утреннего гуляния, а под глазом шишка, охал и стонал он. У Рыжего спина в ссадинах была, на правом ухе кровь проступила.

— Кто ж вас так? — спросил дядя Пафнутий.

— Гвардейцы! — Ага-Садык погрозил кулаком в сторону казарм. — Аллах да покарает их...

Рыжий вошел в амбар и залег на свежие напилки с песком.

— Что они там, поднесь опохмеляются, что ли, со дня рождения наследника? — спросил дядя Пафнутий. — Иль нейдется идти противу шведа, засиделись в столице?.. Сафка, зови слонового лекаря.

Сходил я к лекарю и вернулся. Дядя Пафнутий с янтарным камнем возился. Повертывал его и так и сяк, нюхал и даже языком лизал.

— Кислит, — молвил он. — А отчего, неведомо.

— А напилки отчего липнут к нему?

— С похмелья всех на кислое тянет. Ты лучше ответь, зачем гвардейцы Ага-Садыка и Рыжего избили?

— В отместку, видать.

— Ага-Садык их обидел иль Рыжий?

— А припомни, Рыжий палкой огрел обидчика в казарме.

— А Ага-Садык кому досадил?

— Не он, а его земляк, посланник персиянский, что в Питер едет со слонами. Он солдат наших обухом достает, и моего брата тоже...

— Ить верно! — согласился дядя Пафнутий. — Как по Писанию: деды яблоки ели, а у внуков оскомины. Поди тронь посланника, мигом война зачнется с Персией. А Рыжего и Ага-Садыка, стало быть, бить ненакладно. Ой, народ, что красавец, что урод... Слышь, намедни чистил я кирпичной крошкой самокип. Долго, до золотого блеску. А после потер янтарь-камень и удумал посмотреть, прилипнет ли он к самокипу. Подношу, мизинец промеж них можно было просунуть, — и тут ка-а-ак сверкнет дугой искра, будто молния, из камня и в медной стенке исчезла. И что я подумал сразу: если насадить на сосну медный штырь — может, он быстрее молнию из мироколицы на себя притянет, а?

— Ты, дядя Пафнутий, и впрямь Архимед. Нешто небо-то янтарь?

— Янтарь не янтарь, да молния-то из небушка, как искра из янтара, родится.

Достал дядя Пафнутий проволоку медную, вкупе насталил ее концами, чтоб вдлинь до земли доставала, и поехали мы на телеге за версту от храмины к кремлевой сосне у дороги.

Я на сосну залез, к самому вершку ее добрался, примотал штырь бечевой и вниз спустился, только прут до земли не дошел на полсажени. Я его тоже прикрутил.

— Теперь грозы надо ждать, — сказал дядя Пафнутий. — Не прозевать бы.

Тронулись мы назад до храмины, и нас Петька Куцый на коне догнал. Глаз у него был смурый, тараканы в зрачках усы попрятали. Он придержал коня и поехал околь нас. И все молчком.

— Ты чего такой? — спросил дядя Пафнутий.

Петька не ответил.

— Слышал, Никита со слонами в Питер прибывает? — спросил я его.

Петька глянул на меня, будто сухарями ошпарил.

— А моих сынов шведы поубивали, — прохрипел Куцый, хлестнул коня и поскакал вперед.

Через неделю выдали нам жалованье — за четыре месяца положено мне было двенадцать рублей. Расписался я в комиссаровой бумаге, вижу, отсчитывает он мне, а у самого на столе червонец новенький, будто только тиснули его на монетном дворе. А на копье червонца — лик Ивана Асафьевича! . . В багрянице сын мой, песцом отороченной, и в короне.

— Ты мне лучше, ваше благородие, червонец дай заместо старых монет, — сказал я комиссару.

— Начто?

— Так ведь новенький.

— Все одно какой тратить. Бери.

Сунул я жалованье в карман, а червонец в руках понес, крутил его с копья на решку и глазам не верил. Знать, наследника скоро провозгласят императором, коли червонцы с Иваном Асафьевичем чеканить стали.

Лишь к храмине подошли, выскочил Ага-Садык и закричал:

— Цепей не дали, цепей нет!

— Вестимо, не дали, — ответил я.

— Да слонов пригнали, а цепей нет! — запричитал Ага-Садык.

Увидел я, что кто-то скачет к амбару на коне. Подскакал всадник, спешился, честь нам отдал и стоит ухмыляется. По званию вроде сержант, усы как усы, варя черная, аки у арапа, с кем-то схожая. Кожа на носу облупилась, а брови выгорели.

— Здорово, Сафка! — сказал сержант. Только по голосу признал я Никитку. — Принимайте персиянское стадо.

Облобызались мы с Никитой.

— Вот, дядя Пафнутий, брат мой.

— Видный мужик, — ответил дядя Пафнутий, а у самого в глазах одна дума — про медную проволоку на сосне. Знать, никакие слоны ему нынче не надобны были.

— Вобрат когда отправлять хотят?

— Начальству виднее. Подполковник обещался на два дня в Раменки отпустить, как расквартируемся...

Вернулся я к себе в светелку, а сам все о сыне своем думаю. Что, ежели пробраться к Аннушке и рассказать про цесаревну? Только чем я стану лучше слухача Петьки Куцего? Для меня-то, может, оно и к добру будет, ежели лишится сын мой царского звания. Глядишь, смогу к нему доступ иметь, житьишко у них станет попроще. А останься он самодержцем — никому я про тайну отцовства своего поведать не посмею: слово цветочку лазоревому дал, что никому не скажу про нашу ночь единую. Но коли укатят их в Сибирь иль Европу — где мне тогда искать их? Ну, Сибирь еще туда-сюда, добраться можно. А ежели Париж иль Лондон — тогда уж точно вечная разлука с сыном, как пить дать. Куда ж холопу в Европу? Господи Боже мой, вразуми раба твоего Асафия, что делать!..

Цесаревна сказала маркизу, что русскому трудно решиться. Так ведь жизнь — не хвост собачий. А обмануть нашего брата просто — бери его ради державного блага. А тут судьба сына родного от тебя зависит, Асафий Николаевич. Клади на терезы думы свои, да гляди не обманись. Тут грамота да арифметика не помогут. Тем не играют, от чего умирают...

Ворочался я целую ночь и засыпать стал, когда уже ободняло. Разбудил меня Степан — под глазами у него мгла заночевала, улыбался он и позевывал.

— Отдал я твоего медведя Дуське. Обещалась Ивану Антонычу вручить .

Я руку под подушку сунул, лежал мой червонец на месте. Надобно было заховать его так, чтоб не потерять. На два рубля неведомо сколь еще жить, ну, да ничего, думал я, продержусь.

Спать боле не можно было. Я засунул топор за пояс и пошел через сад, просадями да тропинками, к храмину. Лист уже облетел и хрустел под сапогами, аки сухарь на зубу.

Вижу, ходит по просади Алешка. Давно мы с ним не виделись. Верно, случилось что — брови свел, руки назад сцеплены.

— Здорово, — сказал я. — Ты чего такой?

— Лизавету на допрос вызывали.

— Куда?

— К правительнице.

— А ты чего здесь ходишь?

— Лекаря Лестока жду.

— И чего спрашивали цесаревну?

Алешка кулаки сжал, зубами заскрипел, я чуть вбок отошел, чтоб не задел меня ненароком.

— Подлый навет на Лизоньку! Будто якшается она со шведами и хочет с их помощью своего племянника на трон возвести. Чуешь, чем пахнет? Шпионством! Дочь царя Петра — шпионка! Да я их всех... — Алешка вензеля пустил, как мой тятя, когда на пол меня своей вяхой свалил. — Ошептал Остерман Лизу пред принцессой. Ты скажи, е правда на земли?

— Е, Алеша, е...

Алешка сызнава карим зрачком меня ошпарил и впронизь прошил.

— Где она, твоя правда? — громыкнул он, я еще подале шаг сделал, потому как знал, что в сей час отвечу Алешке.

— А ту правду ты спреси у своей цесаревны, что она говорила маркизу Шетарди у Стрельненского большака.

— Да она с ним уже полгода не бачилась...

— Бачилась, Алеша, бачилась на Вздвиженье. — Я сызнава шаг назад сделал.

— Бреешь! — аки бык, взревел Алешка, однако я уже пустил свои мослы в галоп с перехода на тропот, только слышал вдогон:

— Стой, бисов сын! Стой, смерд вонючий!..

Вот оно как. Алешка уже царские замашки усвоил. Повернул я и всочь ему двинулся. И рукою за обух топора держусь. Подошел впримык и спросил:

— Как ты меня нарек ?

— Смерд вонючий!.. — скрозь зубы выдавил выползень цесаревны.

— Когда на помости ты дурака играл, я за тебя переживал. А нынче смеюсь над башкой твоей тупой, потому как ты и взабыль болван. Да, я смерд, однако ни на кого еще навета не делал. У меня своя голова на плечах, бандурист хренов, а у тебя своя, да и та на ниточке. Я, смерд вонючий, спас твою бабу от смерда, а то бы лежать ей под ним и появи бы ее армай на глазах вольного казака, как простую халяву...

Алешка стал размахивать своей кувалдой, только я отскочил и вмиг топор выпростал.

— Не подходи, — прошептал я. — Черепуху твою пустую раскрою и дерьма туда наложу, вот те крест! Видать, зря я цесаревну спас, потому как правда в том, что она со шведами снюхалась, как последняя разорва...

У Алешки перед топором моим пыл весь вышел, слушал он меня, и глаза его круглились, того и гляди, выскочить могли. Я тоже малость поостыл и, когда повернул к храмину, принялся молитву Иисусову твердить. И стыд сердце объял — чего я Алешку так словами забидел? Не в пору гнев одолел. Почто, думал, свои обиды на дураке выместить хотел? Вот и ночь зазря провертелся, не спал — без меня донесли на цесаревну. Чей-то слухач грех с моей души снял и не ведал, что сотворил мне...

Развели мы с дядей Пафнутием самокип, чаю кяхтинского заварили.

— Тут вчерась Тимофей тебя разыскивал, — сказал дядя Пафнутий. — В Милан отбывает, петь в опере будет, просил зайти.

К Тимохе я выбрался, когда темь по земле расползлась. Гостей у него не было, oprичь молоденькой комедиантки. Тимоха сидел в торце стола в длинной исподней рубахе, лавровый венок съехал на одно ухо — чисто римский император. Держал он кубок в деснице...

— Алиса, налей Сафке мальвазии, — сказал он.

— Надолго едешь-то? — спросил я.

— На два года.

В полночь Тимоха пошел меня провожать. Мы брели впотьмах и сворачивали по просадям невесть куда. Тимоха все пел по-итальянски и лез целоваться. Где-то слева засветились три окошка, и я узнал дом седельной казны. Эвон крюк какой сделали. Под фонарем у крыльца караульный стоял. Увидел он нас и вытянулся струною — на Тимохе венок лавровый, поверх белой рубахи, что ему до пят была, бархатный кафтан — ни дать ни взять гость заморский или посланник тяти римского в рясе.

— Что, служивый, — спросил Тимоха, — скучно одному, поди?

— Ой, мужики, я уж думал, чужестранец нагрянул! — Обмяк солдат и зашептал: — Выручайте, тут какой-то буян вломился, кричал, что он кого хошь заарестует, что ему сам генерал Ушаков спасибо за службу говорил... Ежели начальство прознает, что я пустил его, меня ж высекут.

— Где твой буян? — гаркнул Тимошка.

Вошли мы через сени в гостиную, солдат на цыпочках подвел нас к двери, ухо к ней приложил и стал слушать. Припомнил я, что в зале той вроде чучело Лизетки стояло. За дверью кто-то кричал и чем-то в стену стучал.

— Отворяй, — сказал я.

— Нет, — ответил караульный. — Вы уж сами...

Потянул я за ручку, увидел на стене тень, что громадилась до потолка и колыхалась из стороны в сторону. За свечами углядел я чучело Лизетки, а на нем мужика в кафтане. Колотил он в бока Лизетки каблуками и десницу вперед простривал.

— На шведа! — крикнул мужик, и я враз Петьку Куцего признал. Дергал он повод, однако Лизетка ни с места.

Тимоха к Петьке подкрался и сзади напялил на него лавровый венок. Петька голову к нам обратил. Пламя от свечей в глазах у него дрожало.

— Чего надо?

Мы стояли молчком.

— Ты думаешь, ежели твой Никита с войны турецкой вернулся, так тебе лучше, чем мне? Не будет так! Кто мне моих сынов вернет? Кто мне за их смерть заплатит? — Пьяный Куцый кой-как слез с Лизетки и на меня попер, шаркая сапогами по паркету. Он вытянул руку и ткнул в меня пальцем: — Ты и заплатишь!..

— Донесешь, как на барина и на отца Василия, вычадок? — спросил я.

— Донесу! — Петька захрюкал, аки боров. — На всех донесу!..

— И на себя? — спросил Тимоха, срывая с Петьки лавры.

— И на себя! Никого не пощажу!..

— Кто ж тебя слушать станет?

— Граф Ушаков, вот кто!

— Вали отсюда, — рявкнул Тимоха, — покуда я тебя не пристукнул, гнида!..

Петька пуце захрюкал и выскочил из залы.

— И как такого земля носит? — удивлялся Тимофей, покуда солдат замок на дверь навешивал. — Поди, озяб на карауле?

— Дело привычное.

— Возьми для согрева. — Он достал из кафтана флягу и отдал караульному.

— Благодарствую.

Мы сызнова в темень окунулись. Тут Тишка меня расцеловал и пообещался писать из Милана...

А через два дня, под утро, разбудил меня стук в дверь. В исподнем и разувкой я зашлепал по паркету, поджимая пальцы, чтоб не всю ступню холодило, повернул ключ и толкнул дверь ногой. Вошли сержант и два солдата с ружьями.

— Ты Асафий Миловзоров?

— Он самый.

— Велено доставить в Тайную канцелярию...

Знамо дело, выпрашивать, почто вызывали, не стал. Солдатам не докладывали, зачем начальство брать приказало.

Связали назади мне руки веревкой и повели. Привели в палату каменную, руки развязали и заперли в холодной. В ней одна скамья была да параша. И еще тараканы по стенам шуршали...

Захрипел за дверью ржавый засов, и остался я один. Поначалу темень в глазах стояла, окошко под самым потолком пол-аршина в поперечину и в решетку заделано. После глаза обыкли, лег я на скамью, а мысли, как чураки, свилью скрутило. Хоть и знал я, что Куцый донести может, а все ж надеялся, что пронесет. Ан не пронесло. Чего ж он наговорил, ежели посадили меня с почетом, одного, в холодную нарозь с другими сидельцами и вязнями?..

Опять засов заскрипел, служка вислобрюхий поставил миску оловянную на скамью, в колени мне хлебный оковалок сунул и ушел.

Два раза тюремщик обыденкой носил мне бурду и хлеб. А на меня икота напала. Крещусь и вторю: “Господи, помяни царя Давида и всю кротость его...” Кафтан уже не согревал, зубы стучали, вставал я и начинал бегать вдлинь стен.

На третий день мочи никакой не стало от холоду. Спросил я служку:

— Долго еще меня морозить будешь? Чай, я не окорок...

— Сколь надо, столь и буду, — ответил он. — Бери парашу и пошли.

Караульный проводил меня до нужника, и я вылил парашу в дыру. Оттоль разило так, что глаза у меня заслезились. Водил солдат меня утром, покуда темень еще была на дворе, чтоб, знать, я ни с кем поговорить не мог. На слоновой выти позабыл я, что такое голод. Дядя Пафнутий не даром говорил: дай прокормить казенного воробья, без своего гуся и за стол не сядем.

...Когда сержант с солдатами явились в мою светелку, успел я упрятать в пазуху тряпицу с деньгами. Выходя из нужника с пустой парашей, я спросил караульного:

— Служивый, хочешь пятиалтынный получить?

— За что? — спросил он с оглядом.

— Купи в лавке рыбки иль мясца да хлебушка. А то всех арестантов по улице водят и народ православный их кормит, чем Бог послал, а меня уж третий день, почитай, никуда не пускают...

— Не можно, — ответил солдат. — Увидят.

— А ты мне принеси, когда я парашничать пойду.

— Ладно. Давай деньги...

Сунул я ему три гривны, и через день солдат отдал мне полкаравая пшеничного и кусок мяса вареного. Заховал я хлеб и мясо в запазушку, помяни Бог бабушку, и в холодной мямлял в одноразье свою незаконную тюремную долю вдосыть.

На пятый день двое караульных опять мне руки связали и потянули в допросную палату. На крыльце узрел я батюшку, что в руках икону держал с изображением животворного креста. Стал я по лестнице подниматься и услышал, как поп закадычил:

— Ты что изножие целуешь, олух, сказано, крест целуй! Да не носом, прохиндей, а губою...

Видать, к присяге послуха привели. Послух глянул на меня, и тут признал я в нем огрузного важника Макара, что дядю Пафнутия обвешивал, когда меня к храмину приставили.

Сидючи за долгим столом, подьячие в допросной палате шуршали перьями, гудели, аки пчелы, а в торце дьяк головой крутил и ухо то одно, то иное вперед выводил, чтоб слышать, как допрос снимают с сидельцев. Сидельцы ахали и охали, крестились, подьячие все на бумагу заносили.

— Кто таков? — спросил меня дьяк и усишко подкрутил под кривым носом.

— Асафий Миловзоров, слоновый учитель.

Дьяк зрачки напружинил, щеки надул идохнул с напером. После окинул меня зраком голодным, головой мотнул на дверцу низенькую справа и рек:

— Туда.

Согнулся я, чтоб притолоку лбом не сбить, шагнул в каморку чуть моей поболее. За столом подьячий тоже шуршал пером по бумаге, инда взмок от старания, и глаза вниз держал, будто меня и не было. Волосья жирные, ровно маслом конопляным смазанные. Персты длинные, жилами набухли, знать, много писать доводилось.

Водил он пером и водил, крапивное семя. А я стою и тоже свое дело делаю — молчу и с пятки на пятку переминаюсь. И мне хорошо — в холодной зубами стучать не надобно, тут натоплено до жару, а жар костей не ломит, вестимо...

Кинул на меня глаза дундук канцелярский, и я охолодел: не дундук то был, а крыса, вот-вот набросится и схавает со всеми костями, а пуговицы выплюнет. Как он глянул, так побелел я, аки судак со страху, — припомнил, как он буренку нашу отвязывал, как с ружьишком стоял промеж армаев Сеньки-каторжника. Санька Кнут Федькой его звал. Стало быть, Федька-то в Тайной канцелярии состоял, а у армаев — лазутчиком ушаковским. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!..

— Асафий Миловзоров? — спросил Федька, и голос его, аки треснутый колокол, прозвучал за помин души моей. Огладил он свои персты жильные и обратно на стол уложил.

— Оголодал в холодной? — спросил сызнава он.

— Благодарствую, — ответил я. — Потчевали мясцом и ситным.

— Сколь ты мяса не нюхал, про то я знаю. — Федька хмыкнул, встал, открыл шкаф, и на столе, будто у цветочка лазоревого, появились семга, лимоны, телятина, горошек, брусника. — Не бойсь, я тоже с утра не емши. — И штоф выволок из того же шкафа. — Вон сколь бумаг, все подписать надобно, а не напишешь, с должности выгонят, пойдешь побираться. А у меня сыны и дочка мал мала меньше. Разумеешь?

— Как не разумееть.

— Ешь. — Федька вилки и ложки у тарелок устроил.

— Ножик давай.

Взял я в правую руку нож, в левую вилку, телятину разрезал и в рот отправил, брусничкой закусил. Ладно у меня так вышло. Федька насупился и тоже ножом заработал. Едим мы и друг на дружку поглядываем.

— Горошек, чать, со Стрельненской мызы? — спросил я.

— Отколь знаешь?

— Да с принцессой Анной Леопольдовной я его из одной тарелки уминал. Вкусён. Только с моего огорода лучше.

— А у цесаревны что едал?

— Тебе и не снилось. Шалейн, по-русски — тертый рог в студне. Где ж салфетки-то?

— Салфетки?! — Федька хрясь меня по варе. — Вот тебе салфетка!

— Благодарствую, — ответил я Федьке. — Рыло твое я враз угадал.

А подъячий хрясь меня сызнава.

— Худо твое дело, — сказал он и вилку в правую руку устроил.

— Не хужей твоего, — ответил я. Федька хотел меня рукой достать, да только шатнулся я назад, загребь его к нему и вернулась пустой. — Чего ружьишком-то не запасся, вор нечистивый?

— Не храбрись, Миловзоров, — ответил Федька. — Виселица тебя ждет по делам твоим. Иль топор да плаха.

— А по твоим в нужник тебя головой надобно, чтоб своего же дерьма нажрался, парашник...

— Мели-мели.

— Прознает Санька Кнут, что ты Ушакову служишь...

— Прознает, да не от тебя. Будешь на цесаревну показывать, отпустят. Не будешь... — Федька ребром ладони по горлу провел.

— А чего ж на нее показывать? — спросил я и скумекал, что попал аки кур в ощип. Вот отчего меня пять дней держали в холодной, а ныне потчевали телятиной с брусникой. Послух нужен был супротив цесаревны. Видать, нету у них ничего, чтоб цесаревну уличить.

— Что заговор супротив правительницы готовила. Что со шведами тайную связь держит и французами не брезгует...

— Да не было такого, — сказал я. А и было, откуда мне знать?

— Розыск устроим. Кнуты, а после дыба со встряской. Признаешься — сто червонцев новеньких получишь...

В Синедрионе Иуде за то, что предал Христа, тридцать сребреников дали. А мне сто золотых червонцев сулили. Знать, выиграла измена, ежели надбавка к ней такая.

— За что на дыбу-то? Хотите силком, чтоб я ошептал душу безвинную?

— За что? Вот у меня сказка. — Федька из стола бумагу вынул. — Я ж тебя не пугал, когда говорил, что виселица тебя ждет. Тут все про тебя написано. И послухи руку приложили.

— И что ж в твоей сказке записано?

— А вот приложишь руку к другой бумаге, тогда и скажу, про что твоя сказка.

— Не буду.

— Воля твоя. Тебе ж лучше хочу.

Вывели меня конвойные в заседание Тайной канцелярии. Предстал я пред самим генералом Ушаковым, покрестился на образа, отдал поклон генералу, как когда-то мой дед Ромодановскому. И надо ж такому быть, что и Ушаков спросил меня сперва:

— Что за самокип такой у тебя?

— Воду кипятить, ваше высокопревосходительство.

— Почему не принесли? — спросил граф.

— Не нашли, ваше высокопревосходительство.

Вот, думаю, не зря я после встречи с Куцым упредил дядю Пафнутия захватить самокип подале.

— Лоботрясы, — пробурчал генерал. — Ничего поручить нельзя. Миловзоров, что ты делал в лесу лета тридцать девятого года двадцать шестого дня месяца июня?

— Наверно, чайком баловался, ваше высокопревосходительство?

— С кем?

— Да два с лишком года прошло с той поры, разве упомнишь.

— Врешь, смерд вонючий...

— Ваш подьячий Федька должен помнить. Он среди воров обретается, почитай, лет семь. А у вора память надежнее. Пускай нонче вам послужит, ваше высокопревосходительство...

— Ты, скотина, забыл, с кем говоришь?.. — Генерал из кресла встал и ко мне подошел. — Дворцовое довольствие крал? Крал. Леса семь лет горят — кто поджигал? Ты своим самокипом. Знаешь, как с воров Стенькой Разиным поступили?

— Знамо дело, ваше высокопревосходительство. Однако номина сунт одиоза.

— Что?! — Граф Ушаков вперился в меня облупнем.

— Почто имя Стеньки все поминать? Неровня я ему.

Граф захохотал от смеха, инда слезы из глаз брызнули, он их платком стал утирать.

— Ну и уморил ты меня, латинист-лапотник, право, уморил. — Граф высморкался. — Кто ж тебя латыни обучил?

— Барин мой покойный. Его тоже в вашей канцелярии пытали, как и деда моего.

— Сознался тебе сей ванька из Аркадии? — спросил генерал Федьку.

— Нет, ваше превосходительство.

— В застенок его. Пусть на своей шкуре узнает, что такое дыба. Больно боек. Распустили сволочь, на казенных харчах она и охамела...

Как Федька обещал, так и вышло. Да что там барин мой покойный. Патриарха Филарета тоже к пытке привели, подняли по велению царя Бориса, Царствие ему Небесное, на дыбе и кнутьями били, а после силком постригли. Чего уж мне печаловаться было? Причащусь и я...

Покуда вели меня в застенок, я все вдогад не мог взять: ежели я вор, чего ж в Тайную канцелярию сволокли? А коли в заговоре с цесаревной, почто генерал вину мою утаил? Иль цесаревна успела с ним столкнуться, а потому как мужик он хитрый, себе на уме, как и она сама, козыри свои до времени не кажет — и нашим и вашим сулит, покуда талан ему не выйдет. Вот и помалкивает, чтоб всей варей в лужу не рюхнуться.

А важника Макара к присяге подвели, чтоб на меня показать. Видно, Куцый поработал те пять дней, что я в холодной сидел и зубами клацал.

Про самокип и пожары, поедавшие леса столь годов вокруг Питера, — до такого и при Алексее Михайловиче церковники не додумались. А Петька Куцый додумался, и байку оную Федька и граф в дело пустили. Для чего нашли поджигу? Чтоб цесаревну изветить. Ох, мыслил я, Елисавет Петровна, подвел бы я тебя под монастырь, как пить дать. Вот тогда бы ты думы на ветке ховала, да с ели совет подавала, аки сова мудрая. Не будь я ваньком из Аркадии, кою кикимора да сержанты порубали давно и хозяина лесов и гор козлиного бога Пана извели ко благу державному не духом кротости, а палкой п у кости, — не пятьдесят рублей мне бы за донос пожаловали, а сто золотых червонцев, верно, с ликом сына моего...

Доставили меня солдаты к кирпичному сараю, Федька назади шагал с кожаной сумой под мышкой и все посвистывал. Видно, про себя рассуждал, что возьмет меня ежели не мытом, так катством. Ему-то не впервой, ведал, что коли добрба молодцба загоняешь как волкба, так будет овца.

Сарай схож был с храминой слоновой, только вместо бревен кирпичи, тябло медное над крыльцом, да и двери не как ворота, однако из дуба и с чугунными петлями. Сколь я тех дверей прошел — от родимой избы до царского дворца — и дошатых и кованых, и низеньких, ровно в баньке, и высоких, в две сажени, как в Зимнем. И всякая дверь с норовом: то сама откроется, то дергай ее, а она будто прилипла, то хрипучая, то певучая или безгласная, то легкая, ровно перышко, то тяжелень, аки жернов.

А та дверь, куда меня втокнули, была не тяжелая, не легкая — ни хрипа, ни скрипа, ни гука, ни звука... Как вошли мы, так она сама и закрыла нас. Федька торкнул вторую дверь, та чмокнула, ровно с притолокой целовалась допрежь.

— Кого привел? — спросил мужик, что сидел за столом, на коем свеча горела, а сверху из окна свет чуть сочился. На мужике кафтан был зеленый, расстегнутый до пояса, из-под него рубаха глядела, будто кусок пламени. Держал мужик скудельную кружку с узорной оловянной крышкой. А сбоку раки вареные лежали.

— Вора и поджигу из слонового амбара, — ответил Федька.

— И куда его определять? — Мужик взял рака, отломил клешню и высасывать ее стал. Федька сумку открыл и бумагу ему подал.

На стол из угла петух взлетел и голову тоже в бумагу сунул. Перья на нем так и пестрили черным, желтым, а на шее белым — цветами российского флага.

Мужик бумагу сверху донизу оглядел, на рачий хвост перешел. У меня слюни потекли, так раков с пивом в охотку было отведать.

— Не сознался, стало быть? — спросил он и поднес петуху мясца рачьего. Тот вмиг его склонул. — А послухи?

— Все подписали и к присяге приведены.

Мужик схапал кочета под мышку, поднялся и сказал:

— Давай в пыточную. А вы, ребята, — велел он конвойным, — обратно волочите того, что нонеча по второму пытали...

Повел нас мужик к иной двери, та басом откликнулась, будто Тимошка на помости. Как вступил я в пыточную, увидел под потолком брус дубовый, что проходил от одной стены к супротивной, и на нем веревки, продетые в два блока. На стенах кнутья висели, кандалы, какие-то полосы железные, ремни. А на полках жаровни.

На скамье, что в дальнем углу стояла, сидели два заплочных мастера без рубах. Кожа на груди у них блестела, будто салом смазанная. Жевали они ржанину с соленым огурцом и волосатыми дланями брыли вытирали.

— Что ж ты, Михайло Михайлыч, продыху нам не дашь? Чуток пошабашим, — сказал один и приник к жбану, пил из него внападку.

— А я вас, хорошие, и не гоню, — ответил Михайло Михайлович и пустил петуха на пол.

— Петя, петя, подь сюды, — позвал петуха другой кат и накрошил на пол хлеба. Петух, неторопко перебирая боднями, будто шпорами драгун, склевал крошки. Знать, рачье мясо вкуснее было, потому как петух издал долгий крик, как издавал его петух в Миловзорове, ежели мы кур начинали гонять по селу.

Из угла за брусом стон раздался, глянул я — кто-то в исподнем там лежал на полу, застеленном сеном.

— Несите его, ребята, — сказал Михайло Михайлович. Солдаты подняли того и поволокли к выходу. Михайло Михайлович дверь за ними на засов закрыл.

Федька устроился за столом, сумку околь положил. Заплочный мастер достал из ведра, что под скамьей стояло, раков, другой кат — с полки кружки.

— Как кличут-то? — спросил меня Михайло Михайлович.

— Асафием.

— Садись с нами, рачков поешь, а то после не до них будет.

— Благодарствую.

Под пиво умял я четырех раков, персты о портки вытер и молвил:

— Ну что, роздых кончился?

— С кнута почнем? — спросил Михайло Михайлович, дернув пальцем правую ноздрю.

— С него, — ответил Федька.

— Ране не пробовал? — Михайло Михайлович провел большим пальцем по левой ноздре, будто закладывал в свой крючок табаку.

— Полсотни отпробовал.

— Для ровного счету еще полсотни получишь. Скидай рубаху и сапоги.

Я оголился до пояса. Думал, ешьте меня, каты добрые.

Подвели меня ражие мастера под брус поперечный, толстый, ровно матица в избе, один повязал мне руки широким ремнем, второй натягивал веревку через блок.

— Экой ты увалень, — буркнул тот, что за веревку тянул. — Небось за шесть пуд тянешь... — Поднял он меня так, что ноги мои на вершок от полу повисли, а другой мне их веревкой связал натуго и взял плеть.

— Так признаешься, что лес поджигал и дворцовое довольствие крал? — спросил Федька.

— А может, я еще и шведский лазутчик? Припиши в свою сказку, урывай-алтынник...

— Начинай, — сказал Михайло Михайлович. — Такой не сознается с первого разу. Парень хват...

Заплечные мастера взялись за плети и стали драть мое мясо кошками. Начал я удары считать, да на тридцатом на руках веревка порвалась, я на пол мешком грянул, чуть лбом об пол не двинулся, еле руки успел наперед подать.

— Я ж говорил, что хомут надобен новый! — молвил заплечный мастер. А второй — я боком узрел — снял с гвоздя толстые широкие ремни с железными застежками, они и назывались хомутом. Поди, хомуты катские тоже отпускали канцелярские скареды, как дяде Пафнутию — лошадиные. Кат укрепил хомут на петле, мне опять стянули сыромятью руки и подняли на вершок от пола. А как кончили бить, каты сразу к жбану припали — жарко в застенке было, дров Тайная канцелярия не жалела, как и ложных сказок. Петух от жару клюв откинул, язык высунул, трепыхался он у него, аки челнок. Ходил петух кругами, будто что соображал, после задрал шею и закукарекал.

Снял мастер вязку с рук и ног у меня; шатаюсь, сковылял я в угол, где допрежь бедняга питаный лежал, и упал. Спина огнем горела, в ключицу ровно гвозди загнали.

— Ну что, — спросил Федька, — может, малость поумнел, Асафий?

— Нет, — прохрипел я. — Дурак был, дураком и помру.

— Вторить будем? — спросил Михайло Михайлович.

— Обождем, — ответил Федька. — Он начальству живым нужон...

— Попей, — услышал я над собой. Еле повернулся, кат ковш к губам моим поднес. — Еще вбиску попробуешь, парень, а уж встряску мало кто держать могёт. Иль сознаются, иль на тот свет.

— Когда вторить будете? — спросил я.

— Когда прикажут.

Поволок меня конвой вобрат. Прочухался я и вижу, что лежу на скамье не в холодной, а в иной, такой же темной, однако теплой каменной каморке. Хотел двинуть рукой — и застонал: все плечо сквозь боль прошла и занозой застряла в нем.

Четыре дня я парашу не мог поднять, хлеб с кашицей по часу ел. Молитвы читал, чтоб Господь силы дал устоять пред муками. И просыпался от стона своего. После Покрова полегчало. На дворе землю покрыло снежком, как невесту женишком, — молодым счастье привалит в нонешнем году.

Однако ждал меня Федька в застенке с Михайлой Михайловичем и обоими катами. И петух, как в прежний розыск, ходил по полу.

— Может, покаешься? — спросил Федька.

— Коль пред Богом виноват, Ему и покаюсь, а пред тобой никогда.

— Начинай, Михайло, — буркнул Федька.

Каты руки мне назад отвели, накинули за спиной хомут на кисти, и полетел я к небушку. Только ноги мне связали не натуго, как впервой, мог я мослы свои раздвинуть на четыре вершка. Один кат бревно саженное подкатил и концом промеж ног моих уложил на веревку. А второй стал на дыбе выше тянуть. Хрустнули мои кости в плечах, я только побряхтывал, испарина выступила на варе и спине, в глазах темень. Кат еще выше меня подтянул, в ногах резь, не стерпел я и застонал...

— Не плачь, рыбка, — гыкнул довольно Федька. — Дай крючок вынуть.

Боль такая, что ни рук, ни ног своих не чую.

— Берешь вину? — спросил Федька.

— Нет...

Услышал я, как петух запел, и провалился в тьму кромешную. После второй пытки я две недели мешком пролежал в камере. Вставал впрорядь, зато обыденкой ведро воды выпивал. Спаси Бог тюремного служку, он меня из ковша поил всякий раз, как я кадычил: “Пить...” Я все молился да молился, однако сил уже не хватало. Стал я склоняться к тому, чтоб вину свою признать, на самого себя донос написать. Пускай уж рваные ноздри да три буквы на варе выжженные — “В.О.Р.” и каторга, чем бесперечь муки терпеть...

В день апостола Луки открыл служка дверь, и кинули ко мне другого сидельца. В темноте разглядел я жилистого мужичка в морской голани, а когда служка свечу засветил, показалось мне в нем знакомое что-то.

— Тебя за что? — спросил я.

— Отказался присягать Ивану Антоновичу.

— Когда ж его императором провозгласили?

— Вчерась. Вчерась в Кронштадте меня и забрали. Нонеча сюда доставили.

— Ну, здорово, Максим.

— Отколь мое имя прознал?

— У отца Василя в сторожке, помнишь?

Максим над скамьей, на коей я лежал, склонился и спросил:

— А ты кто?

— Товарищ я убиенного Митьки Сырцова...

— Как — убиенного?

— Воры на карауле убили.

Максим Толстой перекрестился и сызнава спросил:

— А тебя за что?

— За воровство и поджог.

— Сами они воры. У Елисаветы Петровны корону украли.

— Твоя Елисавет сама воровка...

— Да ты... — Максима перекосило, он кулачок надо мной занес, покачнулся, булдыри на губах выступили. Упал он и стал корячиться в падучей. Я на коленях к двери подполз и принялся стучать. Служка отомкнул:

— Пресвятая Богородица!

Крикнул я службе, чтоб на ноги межеумку сел. А сам руки Максиму прижал своими коленями, схватил ложку из порожней миски и черенок промеж зубов ему втиснул. Побрыкался Максим и начал затихать.

— Ложи на скамью, — сказал я.

Служка кряхтя поволок его и увалил на доски.

— Чего его, болящего, заарестовали-то?

— Отказался от присяги новому императору.

— Вот дурак-то! Не все ль одно, кому присягать?

— Цесаревну Елисавет Петровну пожалел...

— А чего ее жалеть? Все бабы — разорвы и халявы. — Служка рукой махнул и вышел.

...Утром проснулся я, а Максима в каморке нет. Служка сказал, что увели его в допросную контору. Неужто и его трикратно пытаться станут? Не выдюжит, как пить дать — не выдюжит.

Минула еще седмица, и опять меня на дыбу поволокли. Бревно промеж ног моих устроили каты, тянуть за хомут к небушку стали. Один кат на бревно встал, прыгнул — тут мои косточки белые вовсе из плечей вышли, впал я в изумление великое. Федька по бумаге строчил и спрашивал:

— Сознаешься, Асафий?..

— Нет...

Тогда и второй кат прыгнул на бревно. Петух запел, и я во тьме кромешной боле ничего не помнил...

В каменной каморке меня лихорадить начало. Господи, думаю, прерви мучения мои, забери к себе, доколь я в изумство не впал от страдания бесконечного. Крестный отец мой отмучился, дай и мне помереть...

Служка что-то мне говорил, однако слух мне будто рябиновыми балаболками заложило. Руки и ноги словно в огне, ровно отрубили их и соли на раны насыпали. В башке звон не то кандалный, не то колокольный, и круги огненные с наплывом.

В память я вернулся неведомо как. Служка принес мне воды, миску с кашей и оковалок ржанины.

— Кой день нынче? — спросил я.

— Святого Иоанна Златоуста, — молвил он. — Думал, уж не очнешься вовсе. Лекарь тебе кости вправлял, а ты лежишь, как покойник.

Ладно, решил я, жив остался. Что нынче палачи мои еще задумали? С трехкратной пытки не признал я вины своей. Бог Троицу любит. А лекарей на Руси отродясь тоже трое: баня, водка и чеснок.

С трехнедельной голодухи да встряски силы утекли мои, остались кожа да кости. Отсыпбался я, отъедался на кашице и хлебушке. Служка жалостью ко мне проникся. На Введение во храм дал он мне трески вареной.

— Поешь, — сказал он. — Кости крепче будут.

Что рыба, что дыба, помыслил я, все одно Богу спасибо.

— Про моего союзника ничего не слышать?

— Мне не говорят, а я и не спрашиваю. Но раз не вернули, стало быть, услали куда Макар телят не гонял.

— Без пытки?

— Без ней, вестимо. Пытают известно кого — кто с умыслом тайным. А он другой дурачина, вслух на рожон попер.

Скоро я уже ковылять мог до параши и обратно.

Служка мне посох вырезал, ин легче гулять стало по каморке. Я все мыслил: ежели не признал вины с трех пыток, почто не отпускают? Иль задумали еще что?..

Наконец повели меня в заседание. Вместо графа Ушакова другой мужик сидел. Прочел он мне бумагу, по коей выходило, что вины за мной нет, что пытали меня по ложному доносу и лжесвидетели наказаны теперь по закону.

— Ежели б признался, — спросил я Федьку, — стал бы узником каторжным?..

— Повезло тебе, — ответил он. — Самодержицей нынче стала Елисавет Петровна...

— Та-ак! — вскадычил я. — Стало быть, коль донес бы, что императрица — шведская шпионка, ныне и казнить меня могли бы?

— Угадал! — ухмыльнулся Федька.

— А ежели упаду в ноги Елисавет Петровны и поведаю, к чему меня под пыткой хотели принудить?

— Бумаг таких нету, Асафий, чтоб истину показать. Никто тебя не пытал. Твою пытку мы записали на матроса Максима Толстого. А его отправили в Оренбург. Только нынче генерал Ушаков велел его возвернуть в Питер.

— Выходит, жаловаться некому? Бог тебя простит с твоим генералом. Да мыслю я, Федька, что Санька Кнут не простит. Речет он тебе напоследки: не плачь, рыбка...

Поплелся я ковылками до храмины своей. Ветром меня качало, в кафтане холод гулял, а я дышу морозом, гляжу во все глаза на деревья, и не верится мне, что вышел на волю. Сувои по саду намело, я посохом по ним водил, и то ль от сверкучего снегу, то ль от ветру глаза слезами застить стало. Видать, насиделся впотьмах и от белого свету отвык.

Одолевал я две версты околь двух часов. Закоченел, усы и бороду в сосульки стянуло. Когда в амбар ступил, дядя Пафнутий, гоношивший сено граблями, оглядел меня и спросил:

— Кого надобно?

— Асафия, — просипел я.

Рыжий, прикованный к столбу цепью, аки кандалами, задрал хобот и затрубил.

— Тю ты, скаженный! — Дядя Пафнутий граблями его огрел. — С тобой родимчик схватишь, чего кричишь попусту?

— Не попусту.

— Сафка, неужто ты?! — Дядя Пафнутий грабловище выронил. — Господи Иисусе, ровно с того свету явился.

Рыжий пуще прежнего заголосил. Впервой я сахару ему не принес. Сел я на сосновый катыш и сказал:

— Дай чарку для согрева. Два часа по морозу перся...

— Во флигеле, напою и накормлю. Ах ты, Господи, что с человеком сделали, хлебать мой синий хобот!..

— Подожди. — Подошел я к Рыжему впримык, он головою закачал, а после хоботом всего меня облюнил.

— Здорово, вязень, — похлопал я его по хоботу. — А тебя-то почто заковали?

— Тут он так накуролесил, — сказал дядя Пафнутий.

Чарка вмиг огнем мне нутро обожгла, я шей и хлеба навернул, чаю выпил с сахаром внакладку. А покуда ел отдуваясь, поведал мне дядя Пафнутий, что натворил Рыжий, когда меня в Тайную канцелярию увели.

Видать, как раз в тот день, когда меня на первую пытку потянули, Рыжий разбил ворота в храмине и устремился к Фонтанке. Услыхали трубача другие слоны, трое из них сбили ворота с петель, и понеслись они по Питеру, нагоняя на всех страх великий. Рыжий добежал до Васильевского острова и стал крушить дом Сената. Верно, хорошо он запомнил занозу на мосту, а заодно, видать, чуял, что меня на дыбу вздернули. Не на

шутку разошелся и порушил чухонскую деревню, ломал избенки по пути, доколе солдаты не окружили его и канатами не обротали. Тогда-то начальство и цепи для слонов выдало немедленно. Никто не заступился за меня, один Рыжий горою встал. Потому как жить не умел и делал то, что сердце ему велело, не таясь и не боясь расплаты...

— Ага-Садык сказал, слоны за самку осердились, что наврозь от них с самцом жила. — Дядя Пафнутий постелил мне на печке. — Ложись, завтра договорим. Тут, как тебя забрали, Алешка сразу наведалься. А как узнал, что ты в Тайной канцелярии, с лица сошел и ускакал восвояси.

— Боле ничего не говорил?

— Ничего. Иди ложись — вишь, еле сидишь...

Укрыл меня дядя Пафнутий тулупом, сомкнул я глаза и разомкнул через сутки. Поначалу никак в толк не мог взять, где я, а после припомнил, потому как тепло от печи мне все бока пропарило, и я млел, аки дитя в люльке. В головах валенки стояли. Сполз я с печки, сунул в них мослы. Подошвы накалились, и жаром в ноги мне ударило. Надел тулуп и зашаркал в нужник. На коньке его глядел на меня петух безгласный. Вздрос по спине пробежал, припомнил я петуха в пыточной, и опять мне плечи огнем ожгло...

Наперво в храм я пошел, отмолился, а после дядя Пафнутий запряг в сани жеребца, что крыл тятину кобылу, и поехал я к Степану, прихватив штоф с бодрянкой. Опять у меня перстенок бирюзовым камушком посверкивал, и червонец с ликом Ивана Асафьевича при мне обретался. Боле двух месяцев протекло, как меня в Тайную канцелярию забрали, а будто только вчера я отсюда уходил.

Белки с ели на ель сигали, вороний грай возносился к небу, еллинские и иные боги вдоль просади спрятаны были в чехлы сверху донизу. И чудилось, что все то видится мне воснях. Что проснусь, и солдаты поведут меня на дыбу в застенок с медным тяблом над крыльцом.

В мастерской, как и допрежь, смоляной дух витал. Степан за верстаком двойным рубанком брус брал, иной филенки дверные калевал, третий чурак топориком карнал. Взял бы и я долото, однако руки болели.

— Эк тебя прихватило! — сказал Степан. — Когда отпустили?

— Вчера.

— Погодь малость, дострогаю. Горенку твою наш подмастерье занял. Твое все вцеле осталось.

Разлил я мастерам по чарке, тут и Степан рубанок отложил...

— Пытали? — спросил он, когда мы в мою горенку поднялись.

— Трикратно.

— Тут, брат, и моя Авдотья страху натерпелась.

— Почто?

— Да ночью-то ворвались гвардейцы к императору Ивану Антонычу, а с ними и Елисавета Петровна. В офицерском мундире, как мужик, взяла из люльки младенца, тот кричмя залился, а она его качать и говорит: “Бедняжка, ты за родителей не в ответе...” Увезли его вместе с правительницей и принцем Антоном неведомо куда. А Авдотью в ложкомойки отправили. Грудь ее не нужна боле никому, опричь меня...

Сказал я ему, что перееду к дяде Пафнутию во флигель, пускай подмастерье в горенке живет. Обещался, как оклемаюсь, в мастерскую наведаться и покатил до храмины.

Надобно было в Раменки съездить, чтоб тятя с матушкой увидели хоть увечного, да живого. Однако заутро прискользили к храмине пошевни с золочеными дверьми и окошками. Бородатый возница спросил:

— Асафий Миловзоров ты будешь?

— Ну я.

— Велено доставить в Зимний дворец.

— Кто велел-то? — насупился дядя Пафнутий.

— Сама Елисавет Петровна.

— Вона что. Уж не графом ли хотят наречь?..

Привезли меня во дворец, лакей по покоям повел и аккурат в библиотеку цветочка лазоревого доставил, где и встретил меня Алешка с брильянтовой цепью ордена Андрея Первозванного на груди, в белых башмаках с серебряными пряжками и буклях. Персты в кольца золотые взяты, брильянтами тоже светятся, инда глазам невсутерпку.

— Как тебя нынче величать прикажешь? — спросил я его. А сам смотрю на диван, где мы с Аннушкой единый раз поцеловались.

— Камергером я у ее величества, — ответил Алешка.

— А куда ж Иван Антонович делся?

— Отбыл с родителями в свое отечество. Ты садись...

Сел я околь него, жду, что дальше будет.

— В бумагах допросных сказано, что ты отпущен, поелику ложный донос на тебя возвели. Про Лизавету спрашивали?

— Три раза спрашиван был, и все три на дыбе.

— Пытали? — Алешка брови вскинул.

— А что на дыбе делают?

— Что ты сказал?

— Ничего.

— Ушаков допрос вел?

— Генерал только про самокип и казенное довольствие. Помнишь мужика с ружьишком, когда мы с армиями стакнулись?

— А как же.

— Вот он меня и допрашивал про Елисавет Петровну.

— Добре. Жди тут, доложу ее величеству.

И в сей же час возвратился:

— Ее величество ждет тебя.

Я ковылками следом пошел. Ее величество сидела в кресле, в атласном платье с вырезом, как у цветочка лазоревого. Столик на кривых ножках впримык стоял к креслу. На нем чашки с кофеем, грецкие орехи и всякая размайка. Очеса ее величества меня вназырь разглядывали.

Отдал я ей поклон поясной, а она рекла:

— Вон ты какой.

— Какой есть, весь тут, ваше величество.

— Да не весь. Молчать умеешь.

— Жить не умею, ваше величество.

Свела брови свои Елисавет Петровна, однако тут же сверкнула жемчугами:

— Выходит, что и я с тобой в поджиггах была? — И сызнава жемчуга показала. — Ты умеешь молчать, а я умею слово держать. Алексей Григорьевич, подай мне бумагу и награду.

Алешка бумаги ей протянул и шкатулку.

— Подойди, Асафий.

Дала она мне бумаги со шкатулкой.

— Оные паспорта и вольная всему твоему семейству и пятьсот рублей денег за твою верную службу на благо державе и короне российской.

Всякое даяние благо, говаривал отец Василий. Взял я бумаги и деньги и молвил:

— Благодарствую, ваше величество.

— А теперь ответь: почему с трехкратной пытки про меня ничего не сказал? — Елисавет Петровна сызнова очеса в меня вперила.

— Алешку пожалел, — ответил я. — Камергера Алексея Григорьевича Разумовского.

— А меня?

— Обоих...

Помолчала самодержица, а после рекла:

— Ступай.

— Ваше величество, — опомнился я. — Дозвольте за батюшку Василия слово сказать. Расстригли его по доносу Куцего, что за вами следил и на меня донес.

— Где нынче отец Василий?

— В Кронштадте звонарем.

— Хорошо. Ступай...

Уложил я в пазуху вольную и паспорта, шкатулку под мышку устроил, откатали меня пошевни до храмины. Дядя Пафнутий дрова на дворе рубил, уже самокип развел, из трубы искры на снег летели, как подбитые птицы.

— Слава тебе, Господи, воротился.

Как вошли во флигель, я второпи шкатулку-то обронил, из нее монеты новенькие посыпались. Собрал их и вижу — нет на них Ивана Асафьевича. После-то по всей Руси монету с ликом моего сына на новую меняли и изымали и сызнова переливали, чтоб забыли о прежнем императоре, будто его и не было.

— Кого ограбил? — спросил дядя Пафнутий.

— Елисавет Петровну. — Я вытащил свернутые бумаги, на стол положил, развернул, чтоб печати не повредить.

Прочел дядя Пафнутий и сказал:

— Вот и пришла нам пора разлучаться, Сафка.

— Почто?

— Не останешься ты в Питере, как пить дать. В Москву подашься. Даже Рыжий тебя не удержит...

Прочел думы мои тайные дядя Пафнутий — видать, на варе моей вязью выведено было, что брошу я сей сатанинский город. Однако с чего у меня на душе ровно кошки скребли, никак в толк не мог взять. Мне бы радоваться — вольную отписали всей семье, деньги дали. А меня тоска за горло схватила. Знобко и сиротно на душе стало. На всю жизнь с цветочком лазоревым расставался, с сыном своим первенцем Иваном. Истина, она — как хлеб мужицкий, впрямь с полыньей рушится...

Через пять годов на Благовещенье сон мне был, будто предо мной изгорье, на вершке его стоит цветочек лазоревый телешом и Ивана на руках держит. А изгорье снегом покрыто. Иду я босой к Аннушке, стывая корка мне ноги режет до крови, склизко, упал я и вниз полетел. Встал и сызнава подниматься принялся, а цветочек лазоревый зовет: “Асафий!..” Дошел я до половины, оскользнулся, и понесло меня туда, откуда я подъем начал. Пошел в третий раз, уже на карачках, дополз до вершка, а Аннушка по другую сторону излобка падает с сыном и все зовет: “Асафий!..”

Проснулся я и до утра очей не сомкнул. Жене своей Александре ничего не сказал. У нас с ней первый сын родился. Купили мы избу в Замоскворечье, тятя с матушкой на той же улице поселились. Промышлял я резным ремеслом. Отец Василий тоже в Москву переехал и службу правил в храме апостола Филиппа.

Тимоха приезжал из Питера раза два. Рассказал, что после Благовещенья в сорок шестом году — как раз когда сон я видел про цветочек лазоревый — в Александро-Невской лавре хоронили принцессу Анну Леопольдовну рядом с ее матерью. Императрица Елисавет Петровна плакала. А мы с Тимофеем так плакать и не научились.

А через годок-другой принялся я самокипами торговать. Поначалу запасаю медью и оловом и прочими материалами. Первые пять самокипов продал за три недели. А еще через два года в Москве все уже знали, у кого самокип покупать. Александра второго сына мне родила. Добрая она была баба, жили мы с ней в мире и согласии. В ину пору припомню я ее пророчество и говорю:

— Отец Василий тоже в ясновидцах ходил. Предсказал, что Максим Толстой капитаном будет, ин по его и случилось. На дыбе Максима не растягивали. Сослали в Оренбург, а после Елисавет Петровна вернула его, получил он чин капитанский и пятьсот рублей и тут же на пенсию вышел по увечеству. Стало быть, не зря отказался присягать Ивану Антоновичу.

— Что ж она тебе-то пенсию не дала?

— Так меня не подводили к присяге, а уж коли б подвели, присягнул бы я Ивану...

— Асафьичу... — тихо молвила она.

Про все ведала Александра. Что подарит она мне двух сыновей. Что первенца своего видеть я буду только на червонце, что от менял казенных утаил. Доставал я червонец в день рождения Ивана из сундука и смотрел на лик в круге золотом. И хоть Александра

пророчествовать перестала, упробил я ее как-то, чтоб она про сына моего первого рассказала, где он и что с ним. Упробила она меня: “Смотри не пожалей...”

Замерла предо мной, глаза остоячились, ровно соча питерская, и заговорила моя ясновидица:

— Сын твой в крепости сидит, Писание читает. Вот встал к окну. На окне медведь, из дерева вырезанный, взял он его в руки, назад вернул. В дверь капитан вошел... Иван к нему оборотился и спрашивает: “Ответь мне, кто я?” Капитан плечами пожимает. А Иван говорит: “Я император и самодержец российский... а вы меня в тюрьме гноите...” И ногою топнул. “Пустоту ты мелешь”, — ответил капитан... “Вы все еретики! — кричит Иван. — За что вы меня в крепости держите? Что я вам сделал? Мне уже девятнадцать лет. Выпустите меня отсюда!”

— Будет! — крикнул я. Александра вздрогнула, и глаза ее оживели. Испарина на лбу ее выступила. Перекрестилась она и на грудь мне упала...

Солгала Елисавет Петровна Алешке, что отпробила Аннушку с принцем и детьми в их отечество. Стал вечным нятцем в крепости сын мой. Когда Елисавет Петровна короновалась в Москве в сорок втором году, трем мужикам ноздри вырвали, а третьему и язык и в Сибирь сослали за то, что заступились за Ивана Асафьевича и хотели на трон его возвести.

Степка, скворец мой, за чужого птенца вступился, кота-армая не убоаялся. А я за сына родного не сумел постоять. И тут-то вспомнил я, как на дыбе висел трикратно и как петух в застенке после каждой пытки пел. Спасая Елисавет Петровну в граде святого Петра, я трижды отрекался от своего первенца, как апостол Петр от своего Учителя. Стало быть, и свободу свою я купил за то, что сына своего сделал вечным узником. Не та вера правей, коя мучает, а та, кою мучат, сказал как-то отец Василий...

— Нет мне прощения, — молвил я и ничком под образа упал.

— Упробдала — пожалеешь. Во многия мудрости многия печали, Сафушка. Не казни себя, родный мой...

В Питере я боле ни единого разу не был, опричь того случая, когда Тимофей будто в воду канул на много лет. Опасался я, чтобы с ним чего не случилось, как случилось с Федькой-армаем, что меня пытал и допрашивал. В тот год, когда я в Москву перебрался, дядя Пафнутий письмо прислал, в коем сообщал, что в сосну кремлевую с проволокой медной молния угодила. Ствол в единый миг как щепку переломило в том месте, где провод кончался. А в то время катил по дороге Федька, и сосна его придавила. Не успел Санька Кнут добраться до злодея...

В Питере нашел я Тимоху на паперти дворцового храма с кандейкой на шее. Не пел он давно — рассамел совсем, голос потерял и стал жить подаянием. Пенсии ему никакой не дали.

— Сбирай нажитки, — сказал я Тимохе. — Поехали в Москву. Поселишься у меня.

— Какие нажитки? — спросил старый Тимоха. — Вот в Милане, там нажитки так нажитки...

На могилу Аннушки я пошел без него. А уж когда захотелось на памятник Петру Великому взглянуть, мы с ним вместе потопали. Узрел я на каменном целике бронзового коня, а на нем — царя Петра, увенчанного лавровым венком. Копытом конь змия попирал. Спросил я Тимоху:

— Конь что попирает — супость или мудрость?

— Без Куцего не разберешь, — ответил Тимоха.

И хоть старыми мы стали, лысыми и беззубыми, а зареготали, аки дети малые. Потому как не было на нас брильянтовых и иных цепей и ближнего своего за тридцать сребреников мы не предавали. И боле все.

Клюковка вышла. Пора ответ держать.